Булат Окуджава

МОЯ ВОЙНА

Из школы на фронт

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Булат Окуджава, российский поэт, бард, прозаик и сценарист, окончил школу в 1941 году накануне Великой Отечественной войны. Как и многие его сверстники, он сразу же начал проситься на фронт, и вскоре был определен в минометный дивизион. В тяжелейших боях 1942 года Окуджава был тяжело ранен; за боевые заслуги награжден медалью «За оборону Кавказа» и орденом Отечественной войны I степени. В своих автобиографических повестях Булат Окуджава показал трагическую судьбу юношей предвоенного поколения, со школьной скамьи попавших под смертельный огонь врага. В этих произведениях война показана именно такой, какой ее увидели вчерашние школьники, чьи представления о ней порой далеко расходились с реальностью.

- Булат Шалвович Окуджава
  - Предисловие
  - Из школы на фронт
    - Утро красит нежным светом…
    - Уроки музыки
    - Будь здоров, школяр
      - Сено-солома
      - Нина
      - Война
      - Колокольчик — дар Валдая…
      - Лафа
      - Разговоры
      - Снова Нина
      - Эх, махорочка, махорка…
      - «Где ваша дочь?..»
      - Дорога
      - Школяры
      - Еще разговоры
      - В пути
      - И опять Нина
      - Потеха
      - Открытый счет
  - Отдельные неудачи среди сплошных удач
    - Нечаянная радость
    - Гитарист
    - Большая честь
    - Новенький как с иголочки

- Отдельные неудачи среди сплошных удач

Булат Шалвович Окуджава
Из школы на фронт. Нас ждал огонь смертельный…

Предисловие

Я родился в 1924 году, 9 мая, у Грауэрмана, на Арбате. Первая моя квартира — дом 43. Квартира на 4-м этаже, средних размеров по коммунальным масштабам, 5 соседей. Раньше это была квартира фабриканта Каневского, нэпмана. После нэпа он был директором своей же фабрички. А потом уехал во Францию с семьей.

Отец мой был прислан в комакадемию из Грузии учиться. На Арбате ему дали две маленькие комнатки в той коммуналке. И мать жила с нами. После моего рождения отца отправили обратно на Кавказ. Он продолжал работать комиссаром грузинской дивизии. А мама работала в аппарате горкома партии здесь.

А потом пришло время мне учиться. И меня отправили в Тбилиси, где я поступил в первый класс. Это был такой странный первый класс, где были экзамены по-русски. На экзамене каждому давали табличку, на табличке был нарисован лабиринт. В центре лабиринта — колбаса, а снаружи мышка, нужно было найти кратчайший путь до колбасы. О Пушкине мы не слышали ничего, Пушкин не существовал, Лермонтов не существовал, Тургенев не существовал, Толстой не существовал. Все они были помещики.

Потом отец работал уже секретарем Тбилисского горкома партии. У него были нелады с Берией, очень серьезные. И дошло до того, что отец мой поехал в Крым, к Серго Орджоникидзе, и попросил направить его на работу в Россию, потому что в Грузии он работать не мог. И Серго отправил его на Урал. Парторгом ЦК на вновь строящийся в первой или второй пятилетке вагоностроительный завод.

Вот в 1932 году отец отправился на Урал — там еще была дикая тайга и несколько бараков. А потом выписал и нас. Я жил там, учился до ареста отца. До февраля 1937-го.

Мы вернулись в Москву. Опять в эти же две комнаты. Мать, конечно, исключили из партии тут же. Она устроилась кассиром в какую-то артель. И занималась тем, что в свободное время бегала, добивалась приема у Берии, чтобы сказать ему: «Ты же знал его по работе, он не может быть троцкистом или английским шпионом». Она добивалась, добивалась до тех пор, пока не пришли однажды ночью и не забрали ее тоже.

Я остался с бабушкой. В это время был уже брат. Он родился в 1934-м. Жили мы впроголодь. Страшно совершенно. Учился я плохо. Курить начал, пить, девки появились. Московский двор, матери нет, одна бабушка в отчаянии. Я стал дома деньги поворовывать на папиросы. Связался с темными ребятами. Как я

помню, у меня образцом молодого человека был московско-арбатский жулик, блатной. Сапоги в гармошку, тельняшка, пиджачок, фуражечка, челочка и фикса золотая.

Я был политический мальчик. И я знал, что мои родители — такие коммунисты, каких не бывает вообще в природе. Произошла ошибка какая-то. И когда это до Сталина дойдет, он все исправит.

В конце 1940 года тетка решила меня отсюда взять. Потому что я совсем отбился от рук, учиться не хотел, работать не хотел. Я приехал в Тбилиси перед самой войной.

Потом война. Я, конечно, начал бомбардировать военкомат. С приятелями мы требовали, чтобы нас забрали в армию.

Мы охаживали капитана Качарова. Он сначала орал на нас, топал ногами, потом привык и, чтобы отвязаться, поручил повестки разносить. Мы ходили по дворам. Нас били за эти повестки, бывало. Горесть приносили.

Потом я ушел из школы. Работал на заводе учеником токаря. Занимался ровировкой стволов огнемета. Что такое ровировка, до сих пор не знаю. Что-то тяжелое мы делали изо дня в день, из ночи в ночь, по 14—16 часов безвылазно…

* * *

Я все ходил и ходил к военкому, надоедал. Наконец, этот Качаров не выдержал и сказал: «Вот вам повестки». Мы сели и сами себе их написали.

Мне было 17 лет. Тетка моя всполошилась, сказала, что пойдет в военкомат, что все перевернет, что это безобразие. Я ей сказал: если она пойдет, я убегу из дома.

Мы с моим другом Юрием Попенянцем получили направление в 10-й Отдельный запасной минометный дивизион. В Кахетии он располагался.

Это был апрель 1942 года. Мы ходили в своем домашнем, присяги не принимали, потому что формы не было. А потом нам выдали шапки альпийских стрелков, и мы, обносившиеся, босиком, в этих альпийских широкополых шляпах, запевая и ударяя босыми ногами в грязь, ходили строем.

А потом в один прекрасный день осенний нас передислоцировали в Азербайджан. Там мы пожили немножко, мечтая попасть на фронт. Потому что здесь кормили плохо, а все рассказывали, что на фронте кормят лучше, там фронтовая пайка, там нужно козырять, там своя жизнь. Фронт был вожделенным счастьем. Все мечтали об этом.

Однажды нас вдруг подняли. Повезли в баню и после помывки выдали новую форму.

Но повезли не на фронт, а под Тбилиси в какой-то военный городок за колючей проволокой. Там мы изучали искусство пользования ручной гранатой. Раздали вечером гранаты и предупредили, что если сунуть неудачно капсюль внутрь, то тут же взрыв, и все. Гранаты заставили на пояс прицепить, капсюли отдельно, и велели лечь спать. Мы ложились медленно, стараясь не дышать. Ночь была страшная.

Утром смотрим: стоят «Студебеккеры», новенькие американские, наши минометы прицеплены к ним. По машинам! И начались наши фронтовые скитания.

Это была Отдельная минометная батарея, которая придавалась разным частям. Вот мы едем-едем, нас должны придать такому-то полку. Приезжаем, оказывается, там уже батарея есть. Потом несколько дней ждем, потом нас отправляют в другое место. Опять эшелон, опять придают какому-то полку. Придали, оказывается, у нас нет довольствия. Все жрут, а нам есть нечего. Что делать? И командир нам как-то говорит, что надо самим еду доставать. Мы по парам разделились и пошли по разным кубанским селам просить милостыню. Кто что давал. В казарме все это раскладывали на одинаковые кучки. Потом один отворачивался: «Кому?» — «Тому». Так командиры питались и мы.

Потом попали на фронт. Помню, первый раз мне сказали: «НАШИ ПОШЛИ В АТАКУ». И я сразу представил себе, как в фильме: идут колонны в бой, с красными знаменами, впереди гордые командиры…

А потом выглянул из-за холма, посмотрел: атаковали населенный пункт. И я увидел: бежит человечек с автоматом — падает, потом другой — падает, потом первый поднимается, бежит и снова падает. Меня это так поразило и сокрушило: я-то ждал вдохновенных гимнов, а получилось вот что.

Да, был романтизм. Но он очень быстро сошел на нет. Война — это грязь, война — это мерзость. Какая бы она ни была. Приходится иногда брать в руки оружие и защищаться от нашествия. Это необходимо, но я не воспеваю войну.

У Толстого есть фраза: «Патриотизм — последнее прибежище для негодяев». Мне здесь трудно спорить с Львом Николаевичем. Никогда об этом не задумывался. Я думаю, что патриотизм — биологическое чувство. Хочу я или нет — я патриот. Я на этом вырос.

* * *

На фронте меня ранило весьма прозаически из крупнокалиберного пулемета, с самолета. «Рама» летала и постреливала. Случайно какая-то пуля раздробила кость и застряла в бедре. Я долго ее потом носил на веревочке…

Я вообще в чистом виде на фронте очень мало воевал. В основном скитался из части в часть. А потом — запасной полк, там мариновали. Но запасной полк — это просто лагерь. Кормили бурдой какой-то. Заставляли работать. Жутко было.

Осенью 1943-го опять баня, опять новая одежда. Эшелон. И повезли. Слух пошел, что под Новороссийск нас везут. По пути к поезду выходили крестьяне. С жратвой. Мы им американские ботинки рыжие, и они взамен тоже ботинки, но разбитые, и еще в придачу кусок хлеба и сала кусок.

Поэтому мы приехали к месту назначения грязные, рваные, похожие на обезьян, спившиеся. И командиры, и солдаты. И нас велели отправить в Батуми, в какую-то воинскую часть, приводить в чувство. Там казармы, на полу — солома, прямо на соломе мы спали. Ничего не делали. Я запомнил только то, что повели нас на экскурсию почему-то дачу Берии смотреть. Большой белый дом на холме. Разрешили через окна посмотреть убранство. Роскошная столовая, громадная, барская. А товарищи мои были в прошлом профессиональные жулики. Очень добрые ребята.

Они там побегали по даче, разнюхали. Мы пришли, легли спать. Ночью я проснулся — их нет. К утру в казарму пришли какие-то люди и ребят арестовали. Выяснилось, что ночью они все столовое серебро унесли. Ночью же отнесли в скупку. Их выследили.

А нас погрузили на баржу и повезли под Новороссийск. У нас почему-то много вина всякого: пьем и плывем, пьем и плывем. Однажды ранним утром нас построили на палубе. Пришел какой-то фронтовой начальник, посмотрел на нас и ушел. В таком виде не принимают.

Меня вновь отправили в запасной полк, где я опять мучился, пока не пришли вербовщики. Один офицер набирает людей в артиллерию большой мощности — резерв главного командования. Часть стояла где-то в Закавказье, в горах. Не воевала с первого дня. И не предполагается, что будет воевать. Подумал: что там-то может быть трудного? Снаряды подносить — эта работа мне не страшна. А что еще? Думаю: такая лафа. И я завербовался.

Большинство ребят на фронт рвались. Потому что там жратва лучше была. И вообще повольнее было. Если не убьют, значит, хорошо. А я пошел в эту часть…

Нас повезли высоко в Нагорный Карабах, там, в Степанакерте, располагалось то ли Кубанское, то ли Саратовское пехотное училище. И меня перевербовали в него курсантом. Я посчитал: через полгода буду младшим лейтенантом…

Зачислили меня, и началась муштра невыносимая. Такая муштра началась, что не дай бог. Полгода ждать — умру. Я человек нетерпеливый. Месяца три промучился. Иду к замполиту, разрешите доложить: так, мол, и так, отец мой арестован, враг народа. Он говорит, сын за отца не отвечает.

Я говорю, я знаю все, но на всякий случай, чтобы вы не сказали, что я скрыл. Молодцом, говорит, правильно сделали. Идите, работайте спокойно. И я с горьким сердцем пошел работать спокойно. На следующее утро построение после завтрака, Окуджава, Филимонов, Семенов — выйти из строя, остальным — на занятия шагом марш! А нам — продаттестаты и назначение в артиллерийскую часть, из которой меня переманили…

Незадолго до конца войны меня положили в госпиталь. Я там провалялся. Вышел из госпиталя уже в начале сорок пятого года. И получил трехмесячный отпуск. Приехал в Тбилиси к тетке. Там у нее встретил окончание войны.

Когда я был в этом отпуске, я экстерном закончил десятый класс…

* * *

На фронте были свои достоинства: какая-то раскованность, возможность сказать правду в лицо, себя проявить, было какое-то братство. И все, пожалуй. Война учила мужеству и закалке, но закалку и в лагере получали.

А в основном это был ужас и разрушение душ. Были люди, которые вспоминают лагерь с удовольствием. Сидела с моей матерью одна женщина. И потом, когда встречались каторжанки, говорили о прошлом, о кошмарах лагеря, она счастливо вспоминала: «А помнишь, как жили дружно, как я вам супы разливала? Вот было время!»

Я хотел сказать другое. Когда я только отправился на фронт, во мне бушевала страсть защитить, участвовать, быть полезным. Это был юношеский романтизм человека, не обремененного заботами, семьей. Я не помню, чтобы простой народ уходил на фронт радостно. Добровольцами шли, как ни странно, интеллигенты, но об этом мы стыдливо умалчиваем до сих пор. А так война была абсолютно жесткой повинностью. Больше того,

рабочие, как правило, были защищены литерами всякими, потому что нужно было делать снаряды. А вот крестьян отдирали от земли.

Аппарат подавления функционировал точно так же, как раньше, только в экстремальных условиях — более жестко, более откровенно.

Я помню, написал один материал военный: войну может воспевать либо человек неумный, либо если это писатель, то только тот, кто делает ее предметом спекуляции. И поэтому все эти повести и романы наших военных писателей я не могу читать, я понимаю, что они недостоверны. Просчеты, поражения — все это умалчивается. А теперь особенно.

Прошлые 60 лет вообще превратились в ложь. В зале Чайковского поэтический вечер. Я выхожу, читаю стихи против Сталина, против войны, и весь зал аплодирует (это я к примеру говорю). Потом выходит Андрей Дементьев и читает стихи о том, как славно мы воевали, как мы всыпали немцам, так пусть они знают свое место, пусть помнят, кто они такие, и зал опять аплодирует.

Мало кто думает о том, что немцы сами помогли Советскому Союзу себя победить: представьте себе, если бы они не расстреливали, а собирали колхозников и говорили бы им: мы пришли, чтобы освободить вас от ига. Выбирайте себе форму правления: хотите колхоз, пожалуйста, — колхоз. Хотите единоличное хозяйство — пожалуйста. Если бы они превратили наши лозунги в дело, они могли бы выиграть войну.

Но системы у нас похожи. Они поступали точно так же, как поступали бы мы. Просто наша страна оказалась мощнее и терпеливее.

(Из интервью Б.Ш. Окуджавы «Новой газете» и газете «Эпоха»)

Из школы на фронт

Утро красит нежным светом…

Прошлое, давно прошедшее, минувшее, былое, история — какие торжественные понятия, перед которыми, наверное, следует стоять с непокрытой головой. Да неужели, думаю я, такое уж это прошлое? Такая уж это история? Да ведь это было совсем недавно: лето в Тбилиси, жара, позднее утро. Мы как раз собирались уезжать к морю. Я и дядя Николай перетряхивали чемоданы. Тетя Сильвия отбирала летние вещи. Мне было семнадцать лет. Вдруг отворилась дверь, и вошла без стука наша соседка. Мы шумно ее приветствовали. Она сказала белыми губами:

— Вы что, ничего не слышали?

— Слышали, — сказал дядя Николай, — столько чего слышали… А что вы имеете в виду?

— Война, — сказала она.

— А-а-а, — засмеялся дядя Николай. — Таити напало на Гаити?

— Перестань, — сказала тетя Сильвия. — Что случилось, дорогая?

— Война, война… — прошелестела соседка. — Включите же радио!

По радио гремели военные марши. Я выглянул в окно — все было прежним.

— Вот что, — сказала тетя Сильвия дяде Николаю и мне, — бегите в магазин и купите побольше масла… Я знаю, что такое война!..

Мы отправились в магазин. Народу было много, но продукты, как обычно, лежали на своих местах. Мы купили целый килограмм масла.

— Может быть, еще? — спросил я.

— Ты сошел с ума! На нас уже смотрят. Стыдно.

Мы принесли то масло домой. Кто знал, что война так затянется?

По улицам потянулись новобранцы. Среди них были и молодые женщины. Все вдруг переменилось. О море думать не хотелось.

Пришел мой друг, Юрка Папинянц.

— Ну, — сказал он, — в военкомат не идешь?

— Конечно, — сказал я, — пошли.

По дороге я сказал:

— Хорошо бы в один танковый экипаж попасть…

— Хорошо бы, — сказал Юрка.

Маленькое, робкое сомнение пискнуло где-то в глубине и смолкло.

В военкомате дым стоял коромыслом, грохотали сапоги, толпились люди, плакала какая-то женщина, трудно было протолкнуться.

— Чего пришли? — спросил усталый маленький капитан по фамилии Комаров.

— Да вот пришли, хотим против фашистов воевать… — сказал Юрка. — Хорошо бы в один экипаж.

— Вызовем, вызовем, — сказал капитан. — Идите.

«Вот бюрократ чертов!» — хотел сказать я, но сказал иначе:

— Зачем же вызывать, когда мы сами — вот они? Оформляйте, чего уж тут…

— А ну идите отсюда! — вдруг заорал он.

И мы ушли.

— Наверное, мы неправильно вошли, — сказал я, — что-нибудь не так сказали… Все-таки на фронт просимся, а не на базар…

На следующий день мы отправились снова, но нас опять выгнали. И на третий день тоже, и на четвертый… Но на восьмой нас не выгнали.

— Э-э-э-э, — сказал капитан, — черт вас дери совсем! Надоели, будьте вы неладны…

Я хотел сказать ему, что и он нам надоел тоже, но не сказал. Мы уже привыкли друг к другу, как родственники.

— Куда ты торопишься? — сказал он мне. — Ну куда? Посмотри на себя: ты ведь совсем цыпленок.

— Ничего, — сказал я браво, — легче маскироваться.

— Э-э-э-э, — сказал он, — надоели! — И вручил нам по пачке розовых повесток: — Чтобы к вечеру разнесли. Все!

— А на фронт? — спросили мы.

— Я сказал — все! — крикнул он, багровея, и мы отправились.

Мы ходили по улочкам Сололаки, и по Грибоедовской улице, и по Судебной, и по улице Барнова и спускались за Александровский садик и в переулочки за оперным театром.

В одном из дворов среди низко подвешенных сохнущих простынь и рубашек стояла перед нами еще молодая женщина с большим животом и с мальчиком на руках, и за юбку ее держались две девочки. Все, кто был во дворе, увидев нас, замолчали, поэтому стало очень тихо.

— Кого хотите? — спросила женщина, как будто не расслышала фамилию, которую мы назвали, а сама смотрела не на нас, а на розовую, трепещущуюся под ветром повестку.

— Мнацаканов Альберт, — сказал я и протянул листок.

— Это мой муж, — сказала женщина. — А что хотите?

— Вы ему передайте и распишитесь…

— Он на заводе… — крикнула она, оглядываясь на соседей.

— Слушай, Офелия, — сказал старик, — бери…

Одной повесткой стало меньше.

Вот так мы ходили по дворам. Месяц, два. Каждый раз мы спрашивали капитана Кочарова:

— Когда же нас-то?

— Вызовем, вызовем, — говорил он резко. — Идите. Все. Надоели…

На улицах появились первые раненые из госпиталей.

Они выбирались погулять, одетые в одинаковые халаты, бритоголовые, перекрещенные бинтами. Бродили по проспекту Руставели, сидели в скверах на лавочках. Мы им завидовали. Патрули их пока не трогали.

Город наполнялся войсками. Помятые грузовики, заляпанные грязью орудия, рваные, мятые гимнастерки на солдатах, офицеры, похожие на солдат. Поползли слухи, что фронт прорван, что в Крыму или где-то в том районе нам пришлось спешно отступать, что было окружение, что многие остались «там». А мы разносили повестки, будь они неладны! И наша отчаянная храбрость, и ненависть к врагу, и героизм, который распирал нас, и все наши удивительные достоинства (мои и Юркины) — все это засыхало на корню.

В один из этих дней появился в нашем доме дядя Борис, младший брат тети Сильвии. От него долго не было известий, и вдруг явился. Он служил водителем грузовика. Я застал его дома, когда он мылся над тазом. На полу валялась его замызганная гимнастерка. В доме пахло потом, бензином, чем-то горелым, невыносимым и восхитительным.

— Что же вы, — сказал я Борису, — взяли и драпанули?

Он ничего не ответил, только отфыркивался.

— Уж, наверное, можно там было где-нибудь зацепиться, что ли, — продолжал я строго. — Испугались, что ли.

— Заткнись, — сказал он, — будь человеком…

И ушел в другую комнату. И там он сбросил с себя оставшееся на нем военное, вытащил из шкафа свой единственный гражданский костюмчик, оделся и пошел из дому. В окно я видел, как он шел по Грибоедовской — медленно, вальяжно, по-тбилисски… Наверное, он надеялся за несколько часов передышки отыскать кого-нибудь из старых своих знакомых шоферов, кто, может быть, еще был в Тбилиси и кто, может быть, уже не надеялся снова увидеть его живым.

Не успел он пройти и двадцати шагов, как я с лихорадочной поспешностью напялил на себя его гимнастерку, галифе, сапоги, пилотку и, распространяя благоухание окопов, выскочил на Грибоедовскую и двинулся к Юрке Папинянцу. Просто так идти не хотелось — я ударил строевым шагом и так строевым прошел до самых Сололак, козыряя военным и счастливо избежав патрулей…

— Что же делать? — сказал я Юрке. — Когда же мы? Города сдают, земля горит…

— Ничего, — сказал он философски, — все будет.

…Бедный капитан Кочаров! Мы все-таки дожали его в один прекрасный день.

— Ладно, — сказал он, еле сдерживаясь, — черт с вами! Завтра придете с кружкой-ложкой. В 9:00.

— А повестки? — спросили мы.

— Бюрократы! — закричал он. — Какие повестки, когда я вам самим говорю!

Но, увидев наши лица, швырнул розовые листки, отошел к окну и прохрипел оттуда:

— Сами будете заполнять, черт вас дери! Моя рука не виновата, запомните. Сами пишите!

Не было ни военкомата, ни капитана Комарова, ни стен, ни Тбилиси…

— Послушай, — сказал я Юрке, — я побегу домой, а ты принесешь повестку… Как будто я ничего не знаю.

Я ворвался в дом и сел у окна, посвистывая. Душа ликовала, коленки дрожали, на вопросы домашних отвечал невпопад. Наконец в дверь позвонили, и тетя Сильвия пошла открывать. Не помню, что уж там говорили, какие были восклицания, ссорились, или пели, или Юрку Папинянца выталкивали вон, или, наоборот, торжественно несли на руках, не помню. Он, видимо, убежал, а тетя Сильвия вошла в комнату с розовой повесткой в руке.

— Повестка? — сказал я как ни в чем не бывало. — Действительно пора. Засиделся…

— Этого не может быть! — крикнула тетя Сильвия, оглядывая меня с подозрением. — Это ошибка. Тебе только семнадцать… Это ошибка. Я сейчас пойду к военкому…

— Нет, — сказал я со страхом, — это не ошибка. Разве вы не видите, что происходит кругом?

— Я в свое время, — сказал дядя Николай, — хотел убежать к индейцам… А ты, мальчик, знаешь, куда ты торопишься?

— При чем тут индейцы? — сказал я и сам удивился, как я это сказал.

— Это ошибка, — машинально повторила тетя Сильвия. — Я

должна пойти…

— Тетя Сильвия, — сказал я твердо, — не надо идти в военкомат. Я ведь все равно уже решил, вы же это прекрасно понимаете. Сшейте мне лучше вещевой мешок.

Она заплакала. Розовая повестка, покружившись, улеглась на полу.

…Счастливое мгновение! Мы с Юркой получили направление в 10-й ОЗМД (Отдельный запасной минометный дивизион). Вечером тетя Сильвия и дядя Николай проводили меня до трамвайной остановки. Трамваи ходили редко, так что я успел все сказать и все выслушать. А потом пришла «десятка» и повезла меня на вокзал. Я стоял на задней площадке, одетый в серые бумажные брюки и футболку. На ногах моих были старые спортсменки. Редкие пассажиры, наверное, думали, глядя на меня, что мальчик собирается в деревню — менять вещи на продукты… Наверное, они так думали, но я не волновался: я-то знал, кто я такой на самом деле!

Мы встретились с Юркой Папинянцем на вокзале. Наш путь лежал в Кахетию, где размещался наш неведомый и замечательный 10-й ОЗМД. Поезда ходили редко. Вагоны брались с боем. Кое-кто умудрялся ехать на крыше. А мы с Юркой даже не пытались врываться в вагон, а сразу влезли на крышу. Было страшно, но до утра вытерпели.

Мы думали, что увидим большой военный городок, где ряды минометов перемежаются с рядами танков, орудий, броневиков, а увидели райское местечко с двухэтажной школой, где размещались штаб и столовая да жили командиры. А совсем недалеко, на старом винограднике, были разбиты парусиновые палатки, в которых предстояло жить нам, солдатам. Командиры и сержанты — все были люди бывалые, кадровые, а солдатами предстояло стать нам — девятиклассникам и десятиклассникам из Тбилиси. Нас съехалось около ста человек. Кто в чем. Шли дни, а об обмундировании никто не заикался. Единственное, что всем нам выдали, были широкополые шляпы защитного цвета, предназначавшиеся для горных войск.

Шли дни. Мы обучались минометному искусству с раннего утра до позднего вечера.

— Батарея, смиир-р-на! — кричал сержант Ланцов, и вдруг его взгляд упирался в кого-нибудь из нас, ну, допустим, в меня, и он багровел и командовал: — Акаджав, два шага вперед шаго-о-ом марш! (Он никак не мог привыкнуть к моей фамилии, ему все время казалось, что окончание «ва» должно относиться к женщине.)

И я делал два шага вперед. И он подходил ко мне.

— Что это вы расхлябанный какой! — начинал он грозно. — Не выспались?..

Но затем на лице проступала скорбь, и он добавлял тихо и обреченно:

— А ну, подтянись…

Я подтягивался из последних сил, я делал все возможное, чтобы выглядеть солдатом, но что я мог? Бахрома на моих брюках подступала к коленям, от футболки оставались рукава да кокетливый воротник. Нынешние хиппи взяли бы меня за образец, но они тогда еще не родились, а мы торопились на фронт. Поэтому сержант Ланцов махал рукой и отправлял меня в строй.

Затем звучала команда: «Шагом марш! Запевай!» Мы дружно ударили босыми ногами в алазанскую пыль, и я запевал:

— Утро красит нежным светом…

Наконец, нам раздали настоящие карабины и брезентовые патронные сумки. Был грандиозный праздник.

— Вот видишь, — философски заметил Папинянц, — я же говорил: постепенно все будет…

И действительно, вскоре мы познакомились с настоящими гранатами, и наши командиры кинули несколько в овраг. Запахло порохом. Однажды вечером после отбоя нам всем раздали по две гранаты, и по два запала, и по брезентовому чехлу с двумя кармашками для гранат и с двумя отделениями для запалов.

— Значит, так, — сказал сержант Ланцов. — Граната сама не взорвется, но ежели мы в нее вставим запал, вот так, затем выдернем чеку, вот так, тогда можно бросать…

— А можно не бросать? — пошутил кто-то.

— Можно и не бросать, — с усмешкой сказал сержант Ланцов. — Сделайте все, как положено, отойдите во-о-он туда и положите гранату в карман…

Охотников, разумеется, не нашлось.

— Все поняли? — спросил сержант.

— Все! — крикнули мы нервно.

— Учтите, — добавил он, — запал — штука нежная… А теперь наденьте гранаты на пояс, как положено, и расходись по палаткам спать.

— Прямо с гранатами?!

— Ага, — сказал сержант, — и чтоб не вздумали кто снять.

Я лежал на своем матрасе и боялся дышать. Гранаты упирались в бок.

— Юрка, — спросил я едва слышно, — ты не помнишь, если запал отдельно от гранаты вдруг взорвется, она тоже взорвется или нет?

— Не помню, — прошептал он.

— Ребята, — сказал кто-то, — главное — во сне на нее не лечь. Главное — не давить на нее, проклятую…

— Разве она от давления взрывается тоже? — спросил я.

— Кто ее знает, — ответили из темноты, — а лучше не давить…

Прошло еще некоторое время, и внезапно прекрасным, как это говорится, кахетинским утром повели нас в баню, откуда мы вышли обмундированные с головы до ног. Правда, это тоже была не совсем новая форма, и, может быть, маленькая латочка на левом плече моей гимнастерки была на месте, куда однажды ударила вражеская пуля… Но все равно мы выглядели настоящими солдатами, нам выдали настоящее оружие, и мы были готовы помериться силами с фашистскою ордой, и эшелон увозил нас из райского местечка… Вот так это было.

Я рассказал обо всем этом недавно моему знакомому. Мой знакомый, человек пожилой, серьезный, послушал и сказал:

— Наверное, вы не выдумали… Но ведь время какое было — суровое, тревожное, а у вас все какие-то шуточки, смешочки. Вы лучше как-нибудь об этом иначе рассказывайте…

Я пытался, но ничего не вышло: так умею, так помню.

Ну а потом был фронт, и ранение, и госпиталь, и все что полагается. А после пришла победа. Но о фронте я рассказывать не буду, ибо о нем так много рассказано в книгах и в кино, что я начинаю путать, что — мое, а что — чужое; что было со мной, а что — с другими. Что же касается победы, то, хотя я и не совершил ничего героического и, наверное, был неважным солдатом, особенно рядом с другими замечательными воинами, все-таки живет во мне уверенность, что без меня победа досталась бы труднее.

Уроки музыки

Нынче все это по прошествии сорока с лишним лет представляется столь отдаленным, почти придуманным, что я теряю реальное ощущение времени. Да и самого себя вижу почти условно: так, некто нереальный семнадцатилетний, с тоненькой шейкой, в блеклых обмотках на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча; почему-то с карабином; почему-то делающий не то, что надо, и потому виноватый перед сержантом Ланцовым.

Сержант Ланцов — старик тридцати лет, кадровый, сколоченный из мореного дуба, глядящий на меня с подозрением и болью, учитель жизни и минометного искусства, которое есть первейшее для нас, то, что вы городские и шибко грамотные, это вы забудьте, так и так, и разотрите… это вам не географией баловаться… Как стоишь! Встать, сесть!.. Смирна! А ну подравняйсь!..

И все в таком роде. И на каждые три слова два несловарных, или наоборот, в зависимости от обстоятельств… Выше ногу! Шире шаг! Так и так!.. Акаджав, убрать живот! (У меня, оказывается, и живот есть. А я думал — только позвоночник.) Чего лыбитесь? На губу захотел, так и так?.. Стой! Вольно… Теперь глядите: это чего у меня? Какая ж это бомба? Ты куда приехал, так и так? В минометную… Значит, чего у меня в руках? А сколько она весит? Весит шестнадцать килограмм, понятно? Осколочного действия, понятно? Засаживаем в ствол, а руки сбрасываем, понятно? Впереди у нее чего? Кто знает?.. Эх вы, грамотные, так и так… Впереди у нее менбрана, понятно?

Широкоскулое губастое лицо учителя вызывает непродолжительный шок. От хриплого баритончика холодеет спина. Но мы привыкаем стремительно, вот уже нестрашно: в глазах, в голосе, в каждом жесте — вдохновение фанатика, хотя словарь все еще оскорбляет. Впрочем, и это ненадолго…

— Я вам поулыбаюсь, так и так!.. Менбрана очень чувствительна: легкое прикосновение к предмету приводит ее в действие, и мина разрывается…

Это он произносит строго по инструкции, изысканно и гладко.

— Она как полоснет осколками — и прощай! Понятно?

— А может, все-таки мембрана? — говорит кто-то из смельчаков.

— Разговорчики! — кричит Ланцов. — Повторите.

— Разговорчики, — повторяю я.

Все смеются в ладошки. Но перед ним долго не посмеешься.

Тишина. Осень. Мелкий дождь. В груди сержанта накапливается знакомый мотив, уже звучат отдельные нотки.

— Повторите про мину, — говорит он угрожающе.

— Если прикоснуться к мембране, она как полоснет, и прощай…

Уже год идет война, а он на фронте так и не побывал. Продолжает свою кадровую службу в заштатном учебном минометном дивизионе, обучает новобранцев, выстраивает их в маршевые роты, а сам не удостаивается и считает себя несправедливо обиженным. Вот почему противоречивые чувства разрывают ему сердце: с одной стороны, он, понимаешь, готовит пополнение, кадры. Всю душу, понимаешь, вкладывает. Не может сдержать слез, когда провожает очередных маршевиков, им вытесанных из ничего, ну совсем, так и так, из ничего. А с другой стороны, вот они, понимаешь, уходят туда, на передовую, понимаешь, становятся героями, а он, понимаешь, здесь припухает, так и так…

— Товарищ сержант, — робко спрашиваю я из строя, — значит, вы сами на фронте-то не были?

— Отставить разговорчики! — кричит он.

Во время перекура мы сидим на бревнах. Он в центре. Он рассказывает, скольких он уже обучил и как они там сражаются.

— А что же это вас-то никак не пошлют на передовую? — спрашивает кто-нибудь.

— А кто ж его знает, — говорит он без охоты. — Может, позабыли, а может, здесь я нужен… А ну кончай перекур! Становись! — И знакомая музыка разливается по учебному полю. — Бегом марш!.. По-пластунски! Давай-давай! Брюхом к земле, так и так! Акаджав, отставить карачки, на брюхе ползи, так и так! Грязно?.. А на передовой чисто?! Что значит устал, так и так! Будешь ползти, покуда весь пар не выпустишь… Грязно ему, понимаешь… Встать! Бегом!..

И сам бежит с угрожающим ликом, и сам бросается брюхом в грязь и ползет с ожесточением.

— У меня не сачковать, так и так! Тяжело в ученье — легко в бою, так твою!.. Не можешь — научим, не хочешь — заставим!.. Окопаться!

И мы вгрызаемся в грязь, в камни, в корни, и воздух насыщен сопением, звоном, чавканьем, выкриками сержанта, пронзительной музыкой, мечущейся над нами от зари до зари.

Трудно сейчас представить, как я все это проделывал, как не отвалились руки, ноги. Я ли то был, тот кривоногий солдатик с оттопыренными ушами, выброшенный из домашнего убогого

тепла прямо в ожесточенные пятерни сержанта Ланцова? Я ли то был?

И по вечерам, прежде чем грянуться в полуобморочный сон, не до меня ли доносились вязкие нашептывания сержанта из дальнего угла:

«Смерть чего хочет? А того, понимаешь, чтобы тебя перехитрить… Ты от нее беги, а она, так и так, быстрая, сука… Значит, ты не беги, а зарывайся. У нее — пуля, а у тебя чего? Лопата. У ней — штык, а у тебя чего? Карабин, понимаешь, заряженный. Вот так оно и идет: она пулю, а ты лопату, она штык, а ты пулю, она тут как тут, а у тебя окопчик, так и так… Ее перехитрить надо… Чего? За какой еще пенек? Эх ты, грамотный… за пенек… А воевать кто будет?.. Чего? А ежели доберется до тебя, стало быть, перехитрила…»

Я уже смутно вспоминаю это свое прошлое. Я погружен в горькую оглушающую музыку, встаю под нее, бегу, вылизываю котелок, ползу по грязи, таскаю мины, выслушиваю оскорбления… И все под нее.

Мы иногда сопротивляемся. Мы иногда пытаемся примирить эти грязь и ожесточение, эти визгливые, дикие мелодии с иными нотами, еще трепещущими в наших душах. Дрожь обиды еще сотрясает наши тела. В поисках гармонии мы выглядим нелепо. Но ведь мы маленькие люди с тонкими шейками и детским опытом, и поспешные мысли о расплате с обидчиком гудят в наших головах: отомстить, ответить, оскорбительно глянуть в голубые прищуренные глаза, усмехнуться, не опускать головы, помнить, что ты — центр мироздания, царь природы, пусть в шинели с чужого плеча, пусть на кривых ножках в блеклых обмотках…

Мы идем по пустынному развороченному полю. Пахнет супом с вязкими ржаными галушками и единственным лавровым листком на всю батарею. И словно в небесах возникает хрипловатое стремительное: «за!» — затем с понижением медленно, словно затаившееся в засаде: «пе-е-е», — и внезапно, как выстрел: «вай!..»

— Вай, вай, вай! — выкрикивает кто-то из кавказцев.

Он ставит нас по стойке «смирно», чтобы до нас, понимаешь, дошло наконец, что это не песенки какие-то там, хочу — пою, хочу — не пою, в школе, понимаешь, там под всякие патефоны, так и так!..

«Кругом! Шагом марш!.. — и прочь от столовой, от клейких вожделенных галушек… — Это вам песня, так и так! Боевое задание… Выше головы! Будете у меня ходить хоть до отбоя, так и так, и после отбоя… А кто-то у меня два наряда вне очереди

получит!.. Кругом! За-пе-е-е-е-вай!»

И мы поем, черт бы его побрал.

После обеда мы сидим у столовой в ожидании построения. Дымок от самокруток вьется в сентябрьское небо. Сержант Ланцов, раскованный и вальяжный, треплется с другими сержантами. И вдруг все преображается. Лейтенант Федоринин, командир нашей батареи, аккуратно ступая по лужам, подходит к нам… Это особый разговор.

Лейтенант — фигура малопонятная, почти таинственная. Мы его видим редко. Ему слегка за двадцать. Он строен и кудряв. И вздернутый носик, и розовые щеки, и тонкие губы, и сияющие хромовые сапоги, и два кубика в петлицах — все это наш командир батареи. Он какой-то другой, загадочный, из иных сфер, легко и плавно опустившийся на эту грязную землю… У меня холодеет спина.

— Батарея! — кричит сержант.

— Вольно… — снисходит командир батареи.

Лейтенант Федоринин — это почти божество, и кубики на его петлицах кажутся мне ромбами. Что уж говорить о командире дивизиона капитане Бовшике? Его я видел однажды, да и то издали, а если бы вблизи — грянулся бы, наверное, бездыханным.

По сержантовым скулам разливаются темень и свет, и скорбь заволакивает его голубые глаза, и хриплый его баритончик доверительно и неоднократно упоминает мое имя в том смысле, что Акаджав, понимаешь, самый нерадивый — и окапывается медленно, и на турнике подтягивается всего два раза, будто девка…

«Два раза? — усмехается лейтенант. — Ну и ну…»

И когда все ползут по-пластунски, он норовит на карачках…

«На карачках?» — не верит лейтенант…

«Мы все, товарищ лейтенант, бегим цепью, а Акаджав не бегит. Гляжу, кто, понимаешь, отстающий? Обратно Акаджав! Все, понимаешь, стараются, сил не щадят, а Акаджав с прохладцей… Я, товарищ лейтенант, с им в разведку не пойду…»

«Акаджав, Акаджав, ты, конечно, не прав», — думаю я обреченно.

Лейтенант Федоринин прищуривается в меня:

— Ну, Окуджава, что делать будем?

Я молчу. Все, что было сказано обо мне, наверное, правда. Это как песня, из которой слова не выкинешь. Но что-то душит меня, мешает мне ответить. Я хочу вздернуть голову, но она клонится. Я хочу открыто глядеть лейтенанту в лицо. Но вижу носки своих перепачканных грязью ботинок. Это грязь войны, грязь моей судьбы. Разве она не укор вам, мои командиры? Разве

ее недостаточно, чтобы выглядеть в ваших глазах достойным хотя бы сочувствия?

— А почему обувь грязная? — спрашивает лейтенант.

— Вот, понимаешь… — бормочет Ланцов.

— Два наряда вне очереди! — говорит лейтенант, звонко улыбаясь. — Сержант, через недельку доложите, какие успехи…

Через недельку я подтягиваюсь пять раз; ползя по-пластунски, словно ящерица, сливаюсь с грязью, задыхаюсь, выплевывая землю, подношу мины, готов умереть по мановению сержантова пальца… Я уж не говорю о том, как с помощью травы и тавота довожу до блеска свои ботинки… Где-то в глубине души теплится надежда, что лейтенант Федоринин видит все это, скрываясь за кустами, и одобрительно кивает кудрявой головой… Сержант окапывается со мною рядом, расплескивая вокруг хриплые проклятия немцам, их танкам, их орудиям, их матерям и женам, и Гитлеру, и… так вашу растак! Врешь, не возьмешь!.. Ланцова не возьмешь… Ланцов вас таких сам в душу… Нате, гады! А вот еще… И так, и так!.. Я заворожен его откровениями и потому останавливаюсь и слушаю этот мотив, который с каждым днем становится мне понятнее.

«Акаджав, опять сачкуете! Ройте глубже, так и так!» — и смотрит на меня почти с омерзением.

Вечером, за десять минут до отбоя, я тянусь перед лейтенантом из последних сил. Я уверен в том, что на этот раз все у меня в ажуре: я был скор, ловок и красив: я ползал так, что вдавил грудную клетку; я окапывался молниеносно (пусть этот окопчик станет могилой вражескому солдату); я без запинки ответил устав; разобрал и собрал затвор карабина; по тревоге выбежал чуть ли не самый первый… остальные там чухались, а я уже выбежал…

— Когда окапывались, товарищ лейтенант, он, понимаешь, остановился и глядит, будто спит… Тут, понимаешь, каждая минута дорога…

— Рассеянность, товарищ Окуджава, — говорит лейтенант, — это бойца не красит…

— Это не рассеянность, — говорю я с отчаянием. — Это сосредоточенность…

Впрочем, не берусь утверждать, что именно эту фразу я произнес тогда: очень может быть, что попросту украл ее из фильма Владимира Мотыля, в котором незабвенный Олег Даль произнес ее с подкупающим очарованием. Не помню. Но что-то такое я из себя выдавил, пользуясь правом царя природы и еще подогреваемый едва слышной музыкой домашнего тепла, до которой, кроме меня, уже никому не было дела.

В два этажа нары из сосновых досок — пристанище нашей учебной батареи. В самом конце — топчан сержанта, отгороженный от нас брезентовым пологом. У него там свой фанерный сундучок, в котором драгоценности и тайны, и он их перебирает с любовью, когда удается на несколько минут избавиться от нас перед отбоем…

«Личное время, понимаешь: уставчик подзубрить, письма накатать… Мне писать некому: моя деревня под немцем. Ты, Акаджав, чего стоишь по стойке “смирно”? Садись… Личное время, понимаешь…»

Он на меня не смотрит, роется в сундучке, вынимает открытку, рукавом с нее стирает пыль…

«Я ведь тебя зачем позвал? Хочу, понимаешь, спросить: как дальше будем? Так все и будем отставать? Мало я тебя гонял?..»

«Вполне достаточно…» — говорю я.

«Могу и больше… — Скулы у него начинают двигаться, но смотрит он в сундучок… — Знаешь, как могу? Весь пар, так и так, выпущу… И не таких ломал. Знаешь, какие тут были? Уж они такие городские, такие грамотные, такие все из себя гордые… Ладно, так и так, я вам поскалюсь… А теперя они с передовой знаешь чего пишут? Спасибо, мол, сержант, за науку, очень пригодилась, понимаешь…»

«И я напишу», — говорю я…

«От тебя дождешься, как же…»

И вдруг кричит:

«Опять ботинки нечищеные! Вы у меня поразговаривайте! Чтоб начистить!.. Вот я сейчас, так и так, карабин проверю… Ну ежели, понимаешь, что не так, так и так, будете, понимаешь, до утра у меня вертеться… Крууу-гом!..»

Мне снится сон.

— Товарищ сержант, — спрашиваю я, — почему вы меня все время оскорбляете?

— Это вы меня оскорбляете своим внешним видом, — говорит он, — своими тонкими ручками, усмешкой, которая должна меня унизить.

— Это вы унижаете мое достоинство, — говорю я.

— Меня оскорбляет ваше наплевательское отношение к нашему общему делу, — говорит он.

— Вы все время коверкаете мою фамилию, — говорю я.

— Пытался вызубрить, — вздыхает он, — ничего не получилось. Я буду называть вас товарищ боец, и по уставу, и необидно. Согласны?..

Это, видимо, так преломился подслушанный мной разговор.

Случайно долетело:

«Что это вы фамилию его коверкаете?»

«Да я, товарищ лейтенант, замучился. Заучивал, заучивал, понимаешь…»

«Ну-ка, повторите, — смеется лейтенант Федоринин, — ну-ка…»

«Акаджав»

«О-куд-жа-ва, — диктует лейтенант, — повторите…»

«А-кааад-жав», — старательно выговаривает Ланцов.

«Н-да, — говорит лейтенант и внезапно кричит: — К завтрашнему чтобы выучить, так и так! Глядите у меня!..»

Кто-то говорит:

«Снег пошел!»

Снег идет. В казарме холодно, сыро… Холодно ему, понимаешь! Телят в холоде держать надо — здоровше будут. Холодно… А на передовой, так и так, тепло?

Наконец, внезапно наступает это самое утро, утро новой жизни или подведения итогов, уж и не знаю, как его назвать. Слышится привычная труба и истошный вопль Ланцова:

«Батарея, подъем!»

Все происходит мгновенно: кальсоны, галифе, ботинки… Выбегаю в темень, в дождь, в снег…

«А ну, пошевеливайся!..»

Тяжелый топот ног: сначала с грохотом по тайной надобности, затем на плац и растягиваемся в несколько рядов. Мощный тугой обнаженный торс сержанта перед нами:

«Делай и раз, два, три, и раз, два, три!»

Мне жарко, снежинки тают на плечах и спине. Бегу со всеми, не отставая, подтягиваюсь на турнике, выгибаюсь назад — вперед…

«Кому холодно?» — кричит Ланцов.

«Никому!» — кричит кто-то.

«Молодцы!.. Бегом! Стой! Шагом марш!.. Разойдись!..»

Умываюсь ледяной водой, и от моего тщедушного тела исходит пар, и сквозь этот пар мне видится моя новая жизнь. Чем же она замечательна? Она замечательна тем, что холод меня отныне не берет, и расстояния мне не страшны, и вырыть укрытие для миномета мне ничего не стоит. Заканчиваю копать, подбиваю стеночки — пульс нормальный. Где же вы, мои недавние усталость и отчаяние? И тяжелая звонкая непечатная дробь сержантовых претензий, не причиняя вреда, отскакивает от меня, как холодный дождь от дубленой кожи. Все глуше музыка души, все звонче музыка атаки…

И вот наконец сержант Ланцов подзывает меня, и я готовлюсь к очередной порции его неудовольствия, а он говорит:

— Акаджава, возьмите этих, погоняйте…

Передо мной — десять стариков лет по тридцать пять. Неловкие, сутулые, напряженные. Полусолдаты. Сегодня прибыло пополнение из запасного полка.

— Акаджава, — говорит сержант, — погоняйте их строевым, понимаешь, как следует. Вон они, понимаешь, сонные какие… Чтоб у меня, так и так, весело глядели!.. Это им не запасная богадельня…

До меня не сразу доходит. Чему же я могу научить их, я — самый несмышленый, самый нерадивый, с тонкими городскими ручками, с тонкими кривыми ножками, закрученными в обмотки?.. Уж не смеется ли сержант Ланцов, не мстит ли мне за жалкие попытки отбиться от его неприязни? Но сержант Ланцов на плацу смеяться не умеет. Значит, это всерьез, и я действительно кажусь ему достойным этого великого назначения?

«Смирна! — командую сдавленным голосом. — Шаго-о-ом марш!»

И веду понурую десятку в дальний конец плаца. Этот плац, занесенный рыхлым, тающим снегом, кажется мне тесным и убогим с высоты моего непомерного роста. И плац, и лесок на краю, и сержант Ланцов, удаляющийся к казарме, и десять перезрелых моих учеников — все видится маленьким и призрачным, сливается там, внизу, у меня под ногами, и припадает к моим гигантским ботинкам. Все замерло в ожидании.

Мои запасники жмутся друг к другу. На них нелепые, не по росту шинели, выцветшие и пятнистые. Они не знают, куда им девать руки. Лица посинели от ветра. У одного из них на синем лице — красный увесистый нос. Этот постарше остальных: ему вполне сорок.

— Холодно? — спрашиваю по-отечески.

— Да уж не жарко, — говорит один из них.

— Сейчас бы в самый раз на печку, — говорит другой.

Тот, с красным носом, молчит. Он уставился на меня маленькими темными глазками, то ли с мольбой, то ли с укором. Он пританцовывает на месте, и его синие губы растянуты в подобие улыбки.

— Значит, холодно? — спрашиваю я. — А на передовой не холодно?..

Как это было давно! Я уже не помню, какой у меня, семнадцатилетнего, был тогда голос. Наверное, тенорок. Они насторожились при упоминании о передовой, так, слегка, но покорно ждали команду. Снисходительные взрослые перед воинственным петушком: ладно, давай, мальчик, поиграем, если тебе охота… Сейчас я поиграю… Вы у меня наиграетесь…

И я кричу ликующим тенорком:

— Смирна!

Что-то обрывается у меня в горле от напряжения, какая-то штучка встает поперек. Они замирают. Все отвратительно, не по-военному.

— Убрать животы! Грудь вперед! Вы что, понимаешь, игрушки играть? Мать, мать! — кричу я почему-то хриплым баритоном. — Это вам что, понимаешь, за супом очередь? Смирна! Напра-а-а-а-а-ва! Бего-о-о-о-ом марш! — и бегу рядом с ними.

Я бегу легко: для меня это забава, они — грузно, посапывают.

— Подтянись! — кричу тому, с красным носом, из-за него теряется строгая линия бегущей цепочки. — Кому сказал — подтянуться!

Он торопится и при этом помогает себе руками, будто продирается сквозь толпу. Они думают — баловство. Сейчас они узнают, что значит наша минометная батарея. У нас на батарее… мы на нашей батарее…

— Раз-два, раз-два, раз-два!.. Стой! Шаго-о-ом марш!

Они идут, отдуваясь, отплевываясь. Я слежу за тем, с красным носом, он украдкой поглядывает на меня: ждет одобрения? Сутулый, в грязных ботинках, пожилой обозник…

— Строевым!

Они пытаются идти строевым, цари природы!..

— Отставить! Кто же так строевым ходит? Вот как надо. Смотреть всем! Нога идет так, понимаешь, так — так, так — так, всей ступней, тяни носок, так и так, чтоб земля дрожала, как один, понимаешь!.. Это вам не на прогулочку по переулочку! Равняйсь! Смирна! Шаго-о-ом марш!

Они идут опять не так, опять не так. Не так, так и так! Ладно, сейчас увидим. Я нахожу место на плацу, самое истоптанное, где мокрый снег перемешивается с грязью.

— Ложись!

Они медленно, с ужасом поглядывая на меня, опускаются в это месиво.

— По-пластунски марш!

Они ползут, подрыгивая ногами, выгибая спины.

— Брюхом к земле, так и так! Отставить карачки, на брюхе ползти! Грязно? А на передовой чисто? Что значит устали, так и так! Будете ползти, покуда весь пар не выйдет… Грязно им, понимаешь! Быстрей, быстрей!.. Встать! Бегом! — и сам бегу рядом… — У меня не сачковать, так и так!.. Тяжело в ученье — легко в бою, так твою!.. Не можешь — научим, не хочешь — заставим! Стой! Строевым! Выше голову!..

А тот, с красным носом, совсем не тянет… И тут я почему-то

вспоминаю своего погибшего отца, которому сейчас тоже было бы сорок. Но мой отец был строен, и жилист, и ловок, и красив, хотя на холоде и у него нос краснел, но он в любой мороз ходил с открытой грудью, хоть и кавказец, и смеялся, если его уговаривали прикрыть горло шарфом… Мой отец всегда… У моего отца все было с иголочки… Сапоги у него всегда сверкали… У нас на батарее… Мы на нашей батарее… Наша батарея…

А может быть, лейтенант Федоринин в эту самую минуту наблюдает за мной, думаю я, пылая, и его круглое лицо еще круглее от улыбки, и он говорит Ланцову:

«Вам, сержант, понадобилось почти два месяца на подготовку новичков, а Окуджава… вы только глядите, поглядите-ка…»

«Конечно, — думаю я, — сначала им тяжело и обидно, зато после вы же меня, понимаешь, сами благодарить будете. Это сначала, понимаешь, непривычно, а потом…»

— Отделение, стой! Вольно! Можно покурить…

У края плаца лежит бревно, и они усаживаются и закуривают. Этот, с красным носом, вытянул длинные несуразные ноги, отдувается, на ржавой шинели грязь, ботинки черт знает в чем.

— Отставить перекур!

Они бросают свои самокрутки, тяжело поднимаются. Слишком тяжело!

— Быстро вставать, так и так! На рынок собрались? Хочу — пойду, хочу — нет?.. А ну сесть! Встать! Сесть! Встать — сесть! Встать — сесть!.. Встать!.. У нас на батарее, понимаешь… Привести себя в порядок, чтобы, понимаешь, выглядеть бойцами…

И сам же первый начинаю чистить перышки. Они отряхивают друг друга, тяжело дышат, тихо смеются… Этот, с красным носом, все-таки похож на моего отца, то есть совсем не похож, но что-то такое… Отец мой был ловкий, он быстро бы все почистил, а этот…

— Вот так надо, — говорю я, — вот так, — и помогаю ему соскрести грязь с рукава шинели.

И в ответ до меня доносится еле слышное, неловкое, тягучее, как мед:

— Да что вы, товарищ командир, сам управлюсь, ничего, ничего…

«Командир!»

— Да какой же я командир, — говорю я, — такой же солдат…

— Голос командирский, — говорит кто-то.

Я хочу сказать, что это не мой голос, но эти разговорчики, всякая эта болтовня, возишься тут с ними, понимаешь…

— Можно закурить.

Они снова закуривают.

— Устали? — спрашиваю. — Ничего, здоровее будете.

Они тихо смеются.

— А вы, — говорю этому, с красным носом, — что-то отстаете, придется дополнительно побегать…

— Научимся, — отвечает тихо, — с непривычки тяжело…

— А на передовой легко? — спрашиваю я. — Там, понимаешь, немец разговаривать не будет: легко — тяжело. Там давай-давай, поворачивайся. А на печке потом, понимаешь, лежать будем. Верно я говорю?

— Верно, — отвечают нестройным хором.

Я присаживаюсь рядом. Я тоже устал, черт его подери. И из меня словно пар выходит и растворяется в сером небе. Сейчас за давностью лет, кажется, и не скажешь, о чем они тихо переговариваются, посасывая самокрутки, поплевывая в снежное крошево, но догадаться нетрудно. Вымысел мой доносит тихий шепоток, из которого являются на свет то дом, то окно, то женские глаза, то детская ручка, то праздничные пол-литра, то черная неизвестность, то вздох отчаяния, то шорох пожелтевшего письма… Если лейтенант Федоринин тайком понаблюдал за моей работой — назначит меня командиром отделения, и тогда прощай Ланцов в конце концов.

И на перекуре усядемся мы с ним рядом, и он скажет:

«А твои-то ничего, понимаешь… Я гляжу: они ничего, дело знают».

«А твои?» — спрошу я.

«Мои совсем никуда, — вздохнет он, — да я их, так и так, еще прижму. Это им, понимаешь, не игрушки».

«Правильно, — скажу я, — им потачки давать нельзя».

И спрошу:

«А тебе из дому пишут?»

«Нет, — скажет он, — некому. Мои все под немцем, растак-перетак!..»

И прочая галиматья.

А они сидят, покуривают. Вот сейчас я скомандую хриплым баритоном, и все это рыхлое, неловкое, далекое от войны натянется, напружинится, зашагает, поползет, побежит… Но шевелиться не хочется. Слышится ровный шепот все о том же и о том же, о чем и сам я шепчу, засыпая по вечерам, о чем и сам думаю, стоя навытяжку перед сержантом, и чем он громче, тем слаще мой шепот… «Стол… диван… фотография мамы… первая трава у порога… яйцо всмятку… бабушкины руки… вечерний свет… девочка, которая не откликается… троллейбус…» Тихая

музыка невозвратного.

А тот, с красным носом, молчит. Слушает соседа, кивает, улыбается. Что-то в его улыбке растерянное, мягкое, грустное. У него трое детей. Три девочки. Старшая — моя ровесница. Неужели и у нее такой же нос?.. Меня словно и нет. Так, все между собой. Десять случайных братьев, прекрасных и обогретых воспоминаниями.

— Кончай перекур, — устало говорю я своим обычным тенорком. — Засиделись.

— И то правда, — улыбается тот, с красным носом. Они медленно поднимаются с бревна. Тепло уходит.

Разглядывают меня с удивлением, словно впервые. И тот, с красным носом, похожий на моего отца, спрашивает меня:

— А тебе, сынок, из дому пишут? А мне никто не пишет, некому.

— Пишут, пишут, — говорю я, отворачиваясь, — все хорошо. — И командирское во мне готовится выкрикнуть: «Отставить разговорчики! Равняйсь!..» — но я говорю громко, потому что они все ведь рядом, вот здесь: — Подравняйтесь… шагом марш… — и мы движемся. — Все в ногу, а то сержант даст нам прикурить.

Наступает и еще один прекрасный день. И вот мы, чистенькие, из бани, в новой форме, поскрипывающие, уже нездешние, стоим на платформе у эшелона, чтобы через несколько минут отправиться уже как маршевая к передовой. Лейтенант Федоринин и сержант Ланцов провожают нас. Впереди — прекрасная неизвестность. Лейтенант улыбается. Мы теперь не его. Сержант грустен. Он опять остается. Вся надежда на наше геройство.

— А вы-то как же, товарищ сержант? — спрашиваю я без страха, как приятеля.

— А вот так же, понимаешь, — говорит он и краснеет, — опять здесь припухать, раз-два, встать — сесть… таки так…

— А что, Окуджава, — говорит лейтенант, посмеиваясь, — дадим вам сержантские лычки да оставим здесь трудиться, а? Хорошо ведь?

— Ну уж нет, спасибо, — смеюсь я, — уж я лучше туда.

Доносится свисток паровоза. Пора.

— Слышь, Акаджава, — говорит сержант, — ты, понимаешь, может, напишешь, как там чего?

В голубых его глазах — тоска, скулы резче, обветренные губы сжаты в две тонкие бледные полоски.

— Напишу, напишу, — тороплюсь я, — обязательно, про всех напишу…

Конечно, я напишу, чтобы хоть от меня приходили к нему редкие смятые треугольники. Пусть читает.

— Ты не сердись, ежели чего, понимаешь, не так, сам понимаешь…

— Понимаю, понимаю, — говорю я, — чего там…

Мне грустно, мне жаль его. Я жалею сержанта Ланцова.

У меня никаких обид. Что вы, какие там обиды? Мы ведь не на уроке географии, так и так… Но я почему-то счастлив, что он не отправляется с нами. Пусть потом, сам, без нас, сам по себе. Я знаю, что он будет там незаменимым и доблестным, но пусть без меня, без меня…

Прошло более сорока с лишним лет. Срок, понимаешь! Ни одной фамилии не помню, кроме этих двух. Где все — не знаю. Живы ли, погибли ли? Никто не знал, кому что предназначено, да и сейчас никто не знает, почему одним повезло, а другим нет. Я хочу, чтобы все остались в живых, все, но больше всего чтобы тот, с красным носом, похожий отдаленно на моего отца, чтобы он вернулся к своим девочкам, черт бы его побрал!

Будь здоров, школяр

Сено-солома

В детстве я плакал много. В отрочестве — меньше. В юности — дважды. Первый раз это было перед самой войной, вечером. Я сказал девочке, которую любил, сказал с деланным равнодушием:

— Ну что ж, раз так, значит, конец…

— Ну что ж, значит, конец, — неожиданно спокойно согласилась она. И быстро пошла прочь. И тогда я заплакал — ведь она уходила. И утирал слезы ладонью.

Второй раз я плачу сейчас здесь, в Моздокской степи. Я несу командиру полка очень ответственный пакет. Черт его знает, где он, этот командир полка! Песчаные холмы похожи один на другой. Ночь. А я второй день на передовой. А за невыполнение задания — расстрел. А мне восемнадцать лет.

Кто это сказал о расстреле? Это Коля Гринченко сказал, когда я отправлялся. У него была красивая улыбка, когда он говорил об этом.

— Держись, а не то кокнут, и все…

Приставят меня к стенке. Впрочем, какие здесь стены.

И я утираю слезы. «Ваш сын оказался трусом и…» Так будет начинаться извещение… Ну почему это именно меня послали с пакетом? Вот Коля Гринченко — такой сильный, ловкий парень. Он бы уже давно добрался. Сидел бы сейчас в теплой землянке штаба полка. Пил бы чай из кружки. Подмигивал бы связисткам и улыбался красивым ртом.

А вдруг сейчас ухнет мина? Отыщут меня утром. Командир полка скажет командиру батареи:

— Что же это вы, лейтенант Бураков, неопытного солдата послали? Не дали осмотреться человеку, привыкнуть. Вот из-за вашего равнодушия погиб хороший человек.

«Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении ответственного оперативного задания…» Так будет начинаться извещение…

— Эй, куда идешь?

Это мне кричат. Я вижу там окопчик, и из него мне рукой машут. Мало ли куда я иду?

— Стой! — кричат за спиною.

Останавливаюсь. Подхожу. Кто-то с силой втягивает меня в окопчик за рукав.

— Куда шел? — зло спрашивают.

Я объясняю.

— А ты знаешь, что там немцы? Еще бы сто метров…

Мне объясняют. Это наш передовой дозор, оказывается. Потом меня долго ведут в землянку. Командир полка читает донесение и посматривает на меня. И я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно. Но никто не смеется. И красивая связистка смотрит мимо меня. Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели… Хоть бы дали чаю. Я бы посидел за этим столом из ящика. Я бы сказал этой красавице о чем-нибудь таком… Конечно, у меня такой вид…

— Идите на батарею, — зло говорит командир полка, — и скажите вашему командиру, чтобы он таких донесений больше не посылал.

Он делает ударение на слове «таких».

— Хорошо, — говорю я. И слышу тихий смех красивой связистки. Она смотрит на меня и смеется.

— Вы давно в армии? — спрашивает полковник.

— Месяц.

— В армии нужно отвечать не «хорошо», а «есть»… и потом, это… носки вместе, пятки врозь…

— Сено-солома, — говорит кто-то из темноты угла.

— Я знаю, — говорю я. И выхожу. Почти бегу.

Опять степь. Идет снег. И тишина. Как-то даже не верится, что это фронт, передовая, что рядом опасность. Теперь-то уж я не собьюсь с пути.

Представляю, как смешно я выглядел: расставленные ноги, и руки в карманах шинели, и пилотка, натянутая на уши. А эта красавица… И даже чаю не предложили… Коля Гринченко, когда говорит с офицерами, всегда чуть улыбается. И очень изящно козыряет и говорит при этом: «Так точно». А мне слышится: «Приказывай, приказывай. Я-то тебя насквозь вижу». Он-то видит. А ботинки у меня здоровенные. Это даже хорошо. Увесистая мужская нога. И снег хрустит. Мне бы только шапку ушанку, и я не выглядел бы таким жалким. Вот сейчас приду, доложу. Напьюсь горячего чаю. Посплю. Теперь я имею право.

За спиной у меня автомат, на боку — две гранаты, с другого бока противогаз. Очень воинственный вид. Очень. Кто-то сказал, что воинственность — признак трусости. А я трус? Когда в восьмом классе мы поссорились с Володькой Аниловым, я первый крикнул ему:

— Давай стыкнемся! — и мне стало страшно. Но мы пошли за школу. И товарищи окружили нас. Он первый ударил меня по

руке.

— Ах так?! — крикнул я и толкнул его в плечо. Потом мы долго ругали друг друга, не решаясь напасть. И вдруг мне стало смешно, и я сказал ему:

— Послушай, ну я дам тебе в рыло…

— Дай, дай! — крикнул он и выставил кулаки.

— Или ты мне дашь. Кровь пойдет. Ну какая разница?

Он вдруг успокоился. Мы пожали друг другу руки по всем правилам. Но потом дружбы уже не было.

Трус я?

Вчера на рассвете мы остановились среди этих вот холмов.

— Все, — сказал лейтенант Бураков, — прибыли.

— Что это? — спросили его.

— Это передовая.

Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому говорил торжественно и с гордостью.

— А где немцы? — спросил кто-то.

— Немцы там.

«Там» виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым.

И я подумал, что мне совсем не страшно. И удивился, как это лейтенант так просто определил позиции врага.

Нина

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев.

Я бреюсь перед осколочком зеркала. Брить нечего. В землянке холоднее, чем на дворе. Руки красные. Нос красный. Кровь красная. Пока брился, весь изрезался. Разве я красивый? Уши врозь. Нос картошкой.

Для чего я бреюсь? Вот уже три дня на передовой, и ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. Для чего же я бреюсь? Вчера под вечер у входа в нашу землянку остановилась та самая красивая связистка.

— Привет, — сказала она.

А я посмотрел на нее и понял, что я небрит. Я увидел себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие глаза. Цвет я не запомнил. Я кивнул ей.

— Как жизнь? — спросила она.

— Идет, — сказал я мрачно.

— А что это ты такой хмурый? Не кормили, что ли?

Я достал папиросы.

— Ого, — сказала она, — папиросы.

— Тебе что, делать нечего? — спросил я.

— Давай покурим, — сказала она. И сама взяла из пачки папиросу.

Мы курили и молчали. Потом она сказала:

— А ты совсем еще малявка, да?

— Что это значит?

— Это рыбка, которая только из икры.

Я полез в землянку, а она смеялась вслед.

— Приходила Нинка? — спросил потом Коля Гринченко.

— Да. А ты ее знаешь?

— Я всех знаю, — сказал он.

Вот я побрился. У меня еще есть папиросы. Я чувствую, что она придет. И я расстегнул воротник гимнастерки. Пусть у меня будет лихой вид. И я расстегнул шинель и засунул руки в карманы. И встал за ящик с минами так, чтобы не видно было обмоток.

Кто я? Я боец, минометчик. У нас полковые минометы. Я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не ранили. Приходи, связистка, штабная крыса. Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, раскинув руки…

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев. А я сплевываю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои, губы мои расползаются.

Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, потом покрывает ботинки толстым слоем тавота.

Придет Нина или не придет? Я скажу ей: «Привет, малявка…» Мы покурим с ней. Потом будет вечер. Если это война, то почему не стреляют? Ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого.

— А почему никого из начальства нет? — спрашиваю я.

— Совещаются, — говорит Сашка.

Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, как Золотарев. Если бы мне шинель по росту!

Приходит Коля Гринченко. Очаровательно улыбается и говорит:

— Старшина — гад. Себе жарит яичницу, а мне концентрат дает, — и смотрит на нас с Сашкой.

— Не шуми, — говорит Сашка.

— Это ему не тыл, — не унимается Коля, — здесь ведь разговор короткий. В затылок — и привет. И не узнают.

— Пойди скажи ему об этом, — говорит Сашка. А старшина стоит за Колиной спиной, и на подбородке у него сияет жирное пятнышко.

— Понятно, — говорит он.

Все молчат. Он поворачивается и уходит в свою землянку. Все молчит. У Сашки блестят ботинки, как подбородок старшины. У меня вспотели ладони. Коля Гринченко красиво улыбается. А из землянки старшины и в самом деле тянет глазуньей.

— Глазунья хороша с луком, — говорит Сашка.

Приходит Шонгин. Это старый солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. У него жена, которая провожала его на все войны.

Приходит Шонгин и ест редис. И молчит.

— Откуда редиска?!

Шонгин пожимает плечами.

— Дай редисочки, Шонгин, — просит Сашка.

— Последняя, — говорит Шонгин.

Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, никуда не гонят. Как я шел с пакетом! Ведь это же черт знает что… Как будто Колю Гринченко не могли послать. В семнадцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, и нету…

А Шонгин достает редисочки одну за другой. Красные шарики летят в рот, хрустят.

— Шонгин, дай редисочки, — прошу я.

— Последняя, — говорит Шонгин.

Я загадываю: если Шонгин достанет еще редиску, Нина придет. Шонгин лезет в карман. Достает кисет. Не придет. И вдруг Коля говорит:

— Вот и Ниночка…

Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается она. Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель застегнута на все крючки. Шапка ушанка… ах! Какая у нее ушанка!.. Она немного набекрень. Привет, малявка! Все смотрят в ее сторону, все. Она идет.

— А-а-а! — это Шонгин кричит. — А-а-а! — и падает. И Сашка падает. И Коля Гринченко.

— Ложись!

Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно!.. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина.

Кто-то смеется. У входа в землянку стоит старшина:

— Хватит валяться, ежики.

Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, туда, где легко шла Нина. Я вижу издалека, как она медленно

поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно. Лицом вверх.

Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая. Наша.

Война

Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей — шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира — беги, исполняй, оглушительно рявкай «Есть!», падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины — зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом — выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья — рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза…

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать…

Потерял я ложку, как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша… Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня — дощечка.

А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших.

А Коля Гринченко кривит губы в усмешке:

— Не жалей, Сашка. На наш век баб хватит.

Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня.

Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу. Я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А уставы мы не учим.

Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. Смотрит на мою самокрутку:

— Ты что это раскурился?

— А что?

— Искры по ветру летят. Темно уже. Заметят, — говорит он и оглядывается.

Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются

искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку.

— Говорил… твою мать! — кричит он.

Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, ближе… А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу… Я виноват… Как я буду смотреть в глаза ребятам! Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А мины падают, мины падают.

И тогда я встаю и тоже бегу и кричу:

— Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!

Охает первый миномет. Сразу становится уютнее. Словно у нас объявились сильные спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, худенький юный Гургенидзе, восторженно вскрикивает:

— Попадались!.. Эвоэ!.. Попадались!

Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение! Побоище! Дым коромыслом… Впрочем, я все выдумываю… По нас ни разу не выстрелили. Это мы сами шутим. Но я виноват. И все знают об этом. И все ждут, когда я сам приду и скажу, как я виноват.

А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его.

— Отбой! — кричит Гургенидзе.

Я все расскажу командиру батареи. Пусть не думает, что я таюсь.

— Товарищ лейтенант…

Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю: ждет, когда я признаюсь.

— Я виноват. Я совсем не подумал об этом… Делайте со мной, что хотите…

— А что я должен с тобой делать? — задумчиво спрашивает он. — Ты что, натворил что-нибудь?

Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все. Начистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой:

— Послушай, иди отдыхай. При чем тут твоя самокрутка? Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди.

Я иду.

— Смотри не засни. Замерзнешь, — говорит вслед лейтенант.

Через час мы снова на ногах. Мы снова палим в немцев. Наступление. Я не вижу его. Какое наступление, если мы сидим

на месте? Неужели так будет всегда? Грохот, запах пороха, крик Гургенидзе «Попадалься! Не попадалься!..» и эта проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где-то наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют «Интернационал», падают, знамен не выпуская из рук.

И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза: а какое оно, наступление? Я подышу им. А НП — это не что-нибудь, а просто верхушка холма, и там на склоне лежат, едва высунув головы, наблюдатели, а комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И слышу, как запевают птицы. Птицы!

Кто-то стягивает меня за ногу вниз.

— Жить надоело? — шипит комбат. — Ты что здесь околачиваешься?

— Посмотреть хотел, — говорю я.

Наблюдатели смеются.

— Птицы откуда-то, — говорю я.

— Птицы? — переспрашивает комбат.

— Птицы…

— Какие птицы? — спрашивает из окопчика телефонист Кузин.

— Птицы, — говорю я и уже сам ничего не понимаю.

— Разве это птицы? — устало смотрит на меня комбат.

— Птицы… — смеется Кузин.

Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблюдателей напяливает на палку свою шапку и поднимает над собой. И тотчас запевают птицы.

— Понял? — спрашивает комбат.

Он хороший человек. Другой бы начал топать ногами и материться. Он хороший человек, наш комбат. Сейчас бы меня убили, если бы не он. Это он, наверное, за ноги меня подтянул.

Становится темнее, темнее. Серые сумерки окутывают холмы. И я слышу, как далеко-далеко бьет пулемет.

— Пулемет! — кричу я.

Никто не обращает на меня внимания.

— Пошли наши, — говорит комбат Бураков, — сейчас начнем. — И потом говорит мне: — На-ка погляди.

Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на дальнем, на фоне серого неба вытянулся полоской населенный пункт. И там из конца в конец, как фейерверк, протянулись разноцветные линии трассирующих пуль. И я слышу тарахтение пулеметов, дробь автоматов. Но я не вижу наступления. Я не вижу людей.

— Пошли, пошли! — кричат за моей спиной.

— Где, где?

И вдруг я вижу: по степи кое-где перебегают, согнувшись в три погибели, одиночные фигурки. Редко-редко.

— Хватит, — говорит комбат, — иди на батарею.

Я скатываюсь с холма. Я бегу. А навстречу мне плывет, покачиваясь на холмах, «виллис». А в нем сидит генерал. Я не знаю, что мне делать: пробежать или пройти строевым, приложив ладонь к козырьку…

Генерал Багров. Он меня не видит. Он размахивает руками. А «виллис» приближается к наблюдательному пункту. И там уже вытянулся в ожидании комбат. И ребята стоят. И стереотруба стоит на своих трех ногах неподвижно.

И генерал выскакивает из машины, подбегает к комбату:

— По своим бьешь! По своим?!

Комбат молчит. Только голова мотается из стороны в сторону.

А потом генерал смотрит в стереотрубу, а комбат что-то объясняет ему. И генерал жмет ему руку.

«Чудеса!» — думаю я.

— Отбой! — кричит в телефон Кузин. На батарее тишина. Все словно прислушиваются. А минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат.

— Что у тебя с ладонями? — спрашивает старшина. Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть кровь. Я пожимаю плечами.

— Это от минных ящиков, — говорит Шонгин.

Сейчас мне будут делать перевязку.

Старшина поворачивается и уходит. Это он, наверно, пошел санинструктора звать. Я стою с вытянутыми руками. Сколько, наверное, крови вытекло! Сейчас меня перевяжут, и я напишу домой письмо…

— Иди вымой руки, — говорит, обернувшись, старшина, — сейчас позицию менять будем.

Колокольчик — дар Валдая…

Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову — и все? И мое горячее тело уже не будет горячим?.. Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я многого боялся. Дома. А теперь я все уже узнал, все попробовал. Разве не достаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне. Ведь это даже смешно — убивать человека, который ничего не успел совершить.

Я даже десятого класса не кончил. Помогите мне. Я не о любви говорю. Черт с ней, с любовью. Я согласен не любить. В конце концов, я уже любил. С меня хватит, если на то пошло. У меня мама есть. Что будет с ней?.. А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове? Я еще не успел от этого отвыкнуть. Я еще нигде толком не побывал. Я, например, не был еще на Валдае. Мне ведь нужно посмотреть, что это за Валдай? Нужно? Кто-то ведь написал: «…И колокольчик — дар Валдая…» А я даже таких строчек написать не смогу. Помогите мне. Я все пройду. До самого конца. Я буду стрелять по фашистам, как снайпер, буду единоборствовать с танками, буду голодать, не спать, мучиться…

Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них, у этих бревен, которыми укреплен блиндаж? Они и сами не рады, что здесь торчат. Они ведь соснами шумели так недавно… А когда мы уезжали на фронт, помнишь нашу теплушку? Ах да, конечно же, помню. Мы стояли у раскрытых дверей и пели какую-то торжественную песню. И у нас были гордо подняты головы. А эшелон стоял на запасных путях. Где? На Курском вокзале. По домам нас не пустили. Я только успел позвонить домой. Наших никого не было. Только старуха соседка Ирина Макаровна. Злая, подлая старуха. Сколько она мне крови попортила! Она спросила меня, где стоит эшелон.

— Жалко, — лицемерно сказала она, — не сможет мама повидаться-то с тобой.

И я повесил трубку и вернулся к своим. А через час появилась у вагона Ирина Макаровна и сунула мне сверток. А потом, когда мы пели, она стояла в маленькой толпе случайных женщин. Кто она мне? Прощай, Ирина Макаровна. Прости меня, разве я знал? Я никогда не смогу понять это… Может быть, ты и есть то лицо, у которого следует просить защиты? Тогда защити меня. Я не хочу умереть. Говорю об этом прямо и не стыжусь…

В свертке были сухари и четвертинка подсолнечного масла. И я поклялся сохранить один сухарь как реликвию… Съел. Значит, не смог сделать такого пустяка? А чего же я прошу? А разве не сам я, когда прилетела «рама» и все полезли по щелям, стоял на виду?

— Лезь скорей! — кричали мне.

А я не прятался. Ходил один и посмеивался вслух. Если бы они знали, что у меня внутри делается! А я не могу побежать на виду у всех. Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду? Вот я и говорю. Я сам себе судья. Я имею на это право. Я не Петька Любимов. Помнишь Петьку Любимова? Ну, конечно, помню. Петр Лаврентьевич Любимов. Мой сосед по квартире. Когда началась война, он по вечерам

выходил на кухню и говорил:

— Немцы, паскуды, прут… Надо всем вставать на защиту. Вот у меня рука подживет — пойду добровольцем.

— Тебя и так призовут, Петенька, — говорили ему.

— Так — не штука. Так всякий пойдет. А когда Родина в опасности, нужно не ждать. Самому идти. — И спрашивает меня: — А ты Родину-то любишь?

— Люблю, — говорил я. — Этому меня еще в первом классе научили.

А однажды я встретил его в военкомате. Это когда я повестки разносил. Он меня не видел. Разговаривал с капитаном каким-то.

— Товарищ капитан, — сказал он, — вот я освобождение принес.

— Какое освобождение?

— Броня. Как специалист броню получил. Не хотят меня на производстве отпускать…

— Ну, зайдите вон туда и оформляйте. Броню так броню, — сказал капитан.

Броня так броня. Вот так Петька. Какой же он специалист незаменимый, когда он часовщиком на Арбате в мастерской работал. И пошел Петька оформляться. Прошел мимо меня. Прошел. Остановился. Покраснел.

— Видал? — спросил меня. — Вот так-то. Умирать кому охота?

Наверно, он и сейчас по броне живет. Как будто он известный конструктор или великий артист.

…Этот блиндаж не нами оборудован. Он хороший, этот блиндаж. Он поменьше, правда, чем штаб полка, где Нина сидит, но все-таки неплохой. Видно, отсюда наспех уходили. Вот фотографию женскую уронили. Некрасивая молодая женщина улыбается с нее. А кто-то ее любит. Что ж он захватить-то ее позабыл?

— А ты, Сашка, броню получал? — спрашиваю я.

— Кто ж мне ее даст? — говорит Сашка. — Ее не всем дают.

— Дал бы кому надо, — говорит Коля Гринченко, — была бы тебе броня.

— Наверное, много давать? — спрашивает Сашка.

— Тысячи три. Барахлишко бы продал ради такого дела. Набрал бы.

— Барахлишка набрал бы. У меня один шифоньер три тысячи стоит.

— Ну, вот и дал бы.

— А-а-а… — машет Сашка рукой. — Иди-ка ты…

— А ты что не дал? — сердится Шонгин.

— А у меня денег не было, — смеется Коля.

— Болтать ты горазд… — говорит Шонгин.

Лафа

Восьмой день бьют наши минометы. У нас уже трое ранено. Я их не видел. Когда вернулся на батарею, их уже унесли. Мы переезжаем с места на место, и у нас уже не то что землянок — путевых окопчиков нет. Некогда возиться. Это наступление. Когда оно началось, Коля Гринченко говорил:

— Лафа, ребята. Теперь будет лафа. Теперь мы будем отлично питаться. Теперь поживем на трофейном добре. Хватит концентраты лопать.

Тогда мы все ему поверили. И напрасно. Мы и артиллерия всюду приходим последними, когда ничего уже нет.

И опять концентрат. И дубовые сухари. И Коля Гринченко говорит старшине:

— Старшина, какого хрена этот концентрат! Где фронтовая норма?

— А ты помнишь, ежик, как ты мне грозился? — спрашивает старшина.

— А ты докажи, — улыбается Гринченко.

— Ну, вот и помалкивай, — говорит старшина.

Теперь у него грозное оружие против Коли. И Коля боится его. Я это вижу. Но иногда он забывает, что боится, и тогда переходит в наступление. И это бывает очень смешно.

Я помню, как мы вошли в первый населенный пункт, тот самый, который я видел с НП. Это было разбитое степное село. В уцелевших хатах уже хозяйничали кавалеристы: переодевались, спали, играли на гармонике, а в одной даже блины пекли. И мы, конечно, всюду попадали с опозданием. Куда же нам деваться?

— Пошли, — говорит Гринченко.

И мы с Сашкой Золотаревым идем за ним. Вот входим в хату. В хате жарко. Топится печь. Пусто. Лишь над сковородкой склонился казак. Это по лампасам видно.

— Здорово, земляки, — говорит Гринченко с порога, — принимай гостей.

Коля очень здорово умеет с людьми разговаривать. Очень по-свойски. Он при этом улыбается. Он так улыбается, что нельзя не улыбнуться в ответ. И вот казак оборачивается, и я вижу скуластое лицо и раскосые глаза.

— Вот так казак! — говорит Коля. — Откуда ты такой взялся?

— Что надо? — спрашивает казак.

— Ты калмык, наверно, а не казак. Калмык, да? — И Коля

говорит нам: — Давай, ребята, располагайся. Эх ты, казак калмыцкий!

И Коля кладет на скамью свой вещмешок. А калмык берет вещмешок и швыряет к порогу. Он стоит перед высоким Гринченко такой маленький, скуластый и широкоплечий.

— Что, тебе калмык не нравился? Уходи назад.

— Ты что, гад… — лицо у Коли покрывается красными пятнами.

— Иди, иди, — спокойно говорит калмык.

— Я кровь проливал, а ты меня на мороз гонишь?!

Сашка берет Колю за локоть:

— Не психуй, Мыкола.

— Уводи свой люди, — говорит калмык.

— Не сердись, пожалуйста, — говорю я.

— Уходи давай…

Вдруг открывается дверь, и входят казаки. Их трое.

— Что за беда? — спрашивает один.

Калмык молчит. Мы с Сашкой молчим. Коля тоже молчит. Потом он улыбается и спрашивает калмыка:

— Что ж молчишь, калмык? — И потом говорит казакам: — Вот гад… сам к печке, а русского — на мороз!

— Чего они приперлись? — спрашивает казак у калмыка.

— Давайте-ка, ребята, сыпьте отсюдова, — говорит нам другой казак. А третий говорит калмыку:

— Давай, Джумак, обедать.

А мы молча уходим из хаты. На мороз. В сумерки. Если Гринченко что-нибудь сейчас скажет, он мне опротивеет. Мне кажется, что это я обидел человека. Коля молчит. «Кровь проливал»… Он ведь и царапины не получил!

Теперь мы уже за этим населенным пунктом. Бейте, минометы, бейте! Дуй, ветер! Сыпь, дождь пополам со снегом! Мокни, моя спина! Болите, мои руки!..

Что делать, чтобы не мерзли ноги? Ах, сапоги нужны. Широкие. На три номера больше. Чтобы всякою навертеть-навертеть… Чтобы нога как в гнезде была… А еще нужно ходить. А мы почти и не ходим. Все время приходится менять позиции. Значит, садись в машины и пошел-пошел! Дождь идет. Дождь идет прямо с неба. Снег идет. Откуда-то сбоку. Ветер — со всех сторон. Днем и ночью мы промокаем насквозь. К утру подмораживает. Шевелиться не хочется.

Я думаю о Нине. Мне кажется, что она на одной из машин. Погиб телефонист Кузин. Пуля вошла ему в рот. Она была уже на излете, слабая. Но что-то успела задеть, и он умер.

Разговоры

Это, наверное, первая ночь, когда мы спим нормально. Мы лежим на полу покинутой хаты. Лежим на шинелях. Укрываться нельзя. Жара. Шонгин натопил печь. Нас набилось в хате с избытком. Только летает медленно и однообразно красный светлячок шонгинской самокрутки.

— Дай закурить, Шонгин, — просит Сашка Золотарев.

Шонгин молчит. Летает красный светлячок.

— Дай закурить, Шонгин, — прошу я. Мы ведем игру неторопливо, привычно.

— Да он спит, — говорит Коля Гринченко.

Красный светлячок жалко и неподвижно повисает в воздухе. Я вглядываюсь в темень и словно вижу стиснутые губы Шонгина и открытые мигающие глаза.

— Курить хочется, — говорит Сашка, — разбудить его, что ли?

— Не буди, — говорит Коля, — пусть человек поспит. Сам возьми, сколько тебе надо.

— Табак у него в противогазной сумке лежит, — говорю я.

— Я вам возьму, — говорит Шонгин, — я сам насыплю.

— Ну вот, человека разбудили, — говорит Коля.

Слышно, как кряхтит Шонгин.

Мы лежим и старательно затягиваемся горьким дымом самокрутки.

Тишина. Потом кто-то говорит из темноты:

— Хорошо б сюда Нина пришла бы. Мы бы с ней беседу провели.

Сашка Золотарев смеется.

— А я толстых люблю, — говорит он, — и чтобы выше меня.

— У Нинки муж есть, — говорю я.

Сашка смеется:

— У меня тоже жена есть. Может, Нинкин-то сейчас у моей оладьи ест.

— Война, — говорит Коля, — все перемешалось. А потом, если любовь, так ведь тут не прикажешь…

Сашка смеется.

— Паскуды вы, ребята! — говорит Шонгин и поворачивается на другой бок.

— А я на гражданке с такой и не пошел бы, — говорят из темноты.

А я пошел бы.

— У меня такая девочка была. Катя ее звали, вот была красавица. Коса до пояса. Нинка — это так…

— А тебе ее не навязывают, — раздраженно говорит Коля.

— Не нравится, — говорю я, — не бери. Верно, Коля?

— У твоей Кати нос, наверно, пупочкой был, — смеется Сашка, — ты ведь таких любишь. Чтоб нос пупочкой и чтоб от нее тестом пахло…

— Досмеешься, Золотарев, — угрожают из темноты.

Ты жива еще, моя старушка.
Жив и я. Привет тебе, привет.
Пусть струится над твоей избушкой…

Это Коля поет.

И вдруг открывается дверь. И голос комбата врывается в темень:

— Кто там пессимизм разводит?

И снова тишина.

Что будет завтра? Куда нас понесет? Из дому писем нет. У Сашки на палочке не осталось места для зарубок. Если меня ранят, попаду я в госпиталь. Наемся. Приеду в отпуск домой. Пойду в школу. И все увидят мои костыли. И нашивку за ранение на груди. И может быть, медаль мне дадут, так ее тоже увидят. И выйдет Женя. И уже она не будет посмеиваться. А все будут смотреть то на нее, то на меня. А я скажу ей: «Привет, Женечка». И пойду, пойду по коридору. А она догонит меня: «Может, ты зайдешь ко мне домой? Я соскучилась по тебе». — «К тебе? Домой? Что ты, что ты. Незачем. За это время многое изменилось». И пойду я по коридору.

А девочки скажут ей тихо: «Дура ты, Женька. Сама виновата».

— У меня от тыквы живот болит, — говорит Сашка.

— Я ее на гражданке сроду не ел, — говорит кто-то.

Коля советует:

— А ты, Сашка, пойди сходи.

— Дурак, — говорит Сашка, — тыква — вещь хорошая, только когда не сырая.

— А я борщ люблю, — говорят из темноты, — густой, чтобы ложка стояла. Мне никаких вареников не надо.

А у меня нету ложки. Я как без рук без ложки. Надо мною смеются, над щепочкой моей. И сам я смеюсь… А ложки-то нет у меня… И сапог нету. Были бы у меня сапоги, не так бы мы с тобой, Нина, разговаривали…

Нина, ты тоненькая такая. Вот мы идем с тобой по городу. Вот навстречу идет Женя. Она все понимает. И молчит. Дура она. А мы идем. А на мне черные брюки, белая рубашка с отложным воротничком, а через плечо — аппарат «лейка». И никакой войны.

— А еще я съел бы сметаны, — говорят из темноты.

Снова Нина

Сколько ни хожу в штаб полка, сколько на Нину ни смотрю — она не замечает. А свои, штабные, говорят с ней просто: «Нина, дай кружку…», «Что, милая, устала?..», «Давай покурим…», «Здорово, Ниночка! Вот и еще раз увиделись!..» — и обнимают ее. А она подаст кружку, улыбается, курит, сидя на ящике, и целует вернувшихся с задания, целует прямо в небритые щеки.

Это потому, что они свои. А кто они, эти свои? Они — штабные крысы. А я прихожу с батареи. Я жизнью рискую. У меня руки сбиты, шинель обожжена, губы потрескались. Но они — свои.

Я пролезаю в штабной блиндаж. Там тепло. Горит веселая пузатая трехлинеечка. Пахнет хлебом. И никого. Только Нина сидит с наушниками у приемника.

— «Дон», «Дон», я — «Москва»… Прием. «Дон», «Дон», я — «Москва», как слышно? Прием.

— Здорово, Нина, — говорю я развязно.

Она кивает мне. Это так по-приятельски, так хорошо. Это так неожиданно.

— Как меня слышно? Вот теперь хорошо? Прием… — она снимает наушники.

— Садись, вояка. Отдыхай.

— Некогда, — говорю я и сажусь. На нары. И смотрю на нее. Она смеется:

— Ну чего уставился?

— Так. Давно не видел, как женщина смеется. Там ведь у нас, на батарее, женщин нет. Сашка вот Золотарев иногда улыбнется, Коля Гринченко, а женщин нет.

Она снова смеется:

— Этот ваш Коля сюда часто ходит. Все мне про свои геройства рассказывает. Не люблю хвастунов.

— Ты приходи к нам.

— Куда это?

— На батарею.

— Чайку попьем?

— Посидим, покурим…

— Посидим, покурим, — смеется она.

Какой я бравый был, когда вошел. Какой бравый! Даже пламя лампы заходило ходуном. А теперь оно не шелохнется.

— Хочешь, чайком напою?

— Я чай не пью, — говорю я. И усмехаюсь.

— А, понимаю, — говорит Нина, — ты к спирту привык.

— Привык не привык, а предпочитаю. Чаем будем на гражданке баловаться.

Она смотрит на меня прямо, не мигая, и смеется:

— Чудак ты. У нас разведчики — такие ребята, а от чая не отказываются… Ну и чудак ты. А я приду к вам, на батарею. Ладно? Посидим, покурим… а?

— Да?

— Да… А у тебя глаза хорошие.

У меня белые крылья вырастают за спиной. Белые-белые. И от них светло, как от ракеты над передовой… Бред.

— И все-то ты врешь насчет спирта.

Это она говорит издалека. Я ее не вижу. Только два больших глаза. Круглых. Серых. Насмешливых.

Выходят какие-то люди. Топают сапогами. Говорят разные слова. А я слышу:

— «Дон», «Дон»… у тебя глаза хорошие… перехожу на прием, прием.

— От лейтенанта Буракова? — спрашивают меня.

— Так точно.

— На-ка вот.

Я беру бумагу. Кладу ее в карман. Иду к Нине:

— Так ты придешь?

— Куда?.. А, на батарею? Посидим, покурим? Да?

— Приходи.

— А я не курю ведь, — смеется она. — Так посидим, да?

— Что, Ниночка, красивых солдатиков завлекаешь? — слышу я за спиной.

— Вот ведь все спокойно, тихо, а мне муторно как-то. Предчувствие у меня, — говорит Шонгин, — и тишина мне не в радость. Ну не радует она меня.

Маленький, худенький Гургенидзе стоит перед лейтенантом Бураковым. На кончике носа у него капля. Он размахивает руками:

— Отпускай меня домой четыре дня. Кварели — мой дом. Принесу разний пурмарили, еда. Вино, хачапури, лобио. Этот каша уже нэлзя.

Лейтенант смеется:

— А кто воевать будет?

— Я буду, — клянется Гургенидзе. — Кто будет? Я буду. Пока здэсь война нэту.

— А как же ты добираться будешь?

— Что?

— Как поедешь?

Гургенидзе смотрит на лейтенанта с сожалением.

— Давай отпуск. Сдэляем.

Комбат смотрит на нас:

— Ну как, отпустим?

— Да, видите, какое дело, товарищ лейтенант, — говорит Шонгин, — отпустить бы можно, а вдруг начнется? Как же без такого связиста?

— Вот так, — говорит комбат, — не можем мы без тебя.

— Зачем нэ можем? — волнуется Гургенидзе. — Можем. Четире дня войны нэту.

— А ты, Гургенидзе, сходи к немцам, спроси, когда начнут. Может, и можно поехать, — предлагает Сашка Золотарев.

Все смеются. Не выдержали. Гургенидзе пытается понять, что произошло. Потом машет рукой.

— Ээээ! — и сам смеется.

И капелька, не удержавшись на кончике носа, летит на землю.

И комбат говорит, посерьезнев:

— Отдыхайте. Все. Вечером будем работать.

И уходит.

Вечером опять ничего. Я просил ее заходить на батарею. Для чего она придет? Для чего? Что ей здесь делать? Как в парк пригласил: «Приходите, погуляем». Если бы она видела мои руки, покрытые шрамами и мозолями, руки мои в заусенцах, руки мои, которые отмыть невозможно, так въелась в кожу копоть… Я скажу ей: «Послушай, давай без фокусов. Ты ведь видишь все, ты ведь понимаешь. Ну давай просто: ты и я. Чтоб я знал, что ты ко мне идешь. Пусть все видят. Ну давай, а? Послушай, мы ведь с тобой одногодки. Ведь это же ерунда, что мужчина обязательно должен быть старше. Я ведь тебя давно знаю, давно-давно. Ну пожалуйста, не делай вид, что тебе все равно. Я знаю, что ты это от смущения посмеиваешься надо мной». И когда я буду это говорить, выйдет белая луна, и снег заискрится, и никого кругом не будет, и обмотки мои будут не видны.

— Ты чего не отдыхаешь? — спрашивает Коля Гринченко.

Ну что мне сказать?

— А я вчера с Ниночкой договорился. Сегодня придет.

— Врешь ты все, Коля, — облегченно говорю я. — Как же ты врешь!

— Поглядишь, — говорит он. — Лови момент.

Коля стоит передо мной. От него пахнет одеколоном. Побрился. Побрился? Неужели придет? Ну да, конечно, она же смеялась, а я…

Вот над немецкими траншеями взвивается ракета белая-

белая. Где-то одиноко и грустно стучит и смолкает пулемет.

Коля Гринченко покуривает в кулак. Улыбается.

— Да, а Ниночка сейчас придет. Побеседуем.

— Она ведь замужем, — говорю я, — ничего у тебя не выйдет.

Он улыбается. И покуривает. Потом отходит в сторону. И молчит. Раз молчит, значит, правда. Значит, она придет. Дурак я, дурак. Просил, унижался. А ведь надо так, как Гринченко говорил. Да, надо так. Обнять, прижать, чтобы косточки хрустнули, чтобы слова не могла вымолвить, чтобы почувствовала: вот мужчина! Это им нравится. Это. А разговоры… кому они нужны? Ах ты, Нина сероглазая! Я теперь знаю, что тебе сказать…

За блиндажом урчит «виллис». И слышится женский смех. И я вижу, как Коля бросается туда. Приехала! И я слышу голос ее:

— Здравствуй, здравствуй. А улыбочка-то, улыбочка! Невозможно устоять. А я вот в гости к вам. На минуточку. Упросила майора, чтоб с собой взял. Вот вы как живете! Смотри, пожалуйста, и немцы рядом! Чего ж ты, Коля, молчишь? Как будто и войны нет — такой ты щеголь, Коля. И бриться успеваешь. А у вас тут мальчик есть, черноглазенький такой, он-то где?

— Какой еще черноглазенький? — спрашивает Гринченко.

— Ну такой, черноглазенький.

Я слышу ее тихий смех. Она хорошо смеется. Подойти? А почему я должен подойти? А почему это обязательно про меня? Вот и Гургенидзе — черноглазый. И комбат — черноглазый…

Темный тонкий ее силуэт выплывает из-за блиндажа. Словно темная луна. Остановилась и слегка покачивается:

— Вот ты где, воин… Посидим, покурим, а?

Она подходит, подходит, подходит…

— Интересно как! — говорит она. — Вот на войне у меня свидание. Ты что же молчишь? Ааа, ты, наверно, спирту напился, да?

— Ничего я не пил.

— Ну, расскажи что-нибудь…

— Пойдем туда, за минные ящики, посидим.

— О, какой ты! Сразу — в уголок.

— При чем тут это?

— При том, что каждому этого хочется. А на передовой тем более. Что завтра будет?

— Ты мне нравишься, Нина.

— Я знаю.

— Знаешь? Задаешься просто.

— Что ты, что ты, мальчик. Мне Коля Гринченко ваш

рассказал, как ты во сне со мной разговариваешь.

— Врет он все!

Из-за блиндажа закричали:

— Нина! Шубникова! К машине!

— Ну вот. Пора. Так ты и не сказал мне ничего. Кто ты, что ты, что делать будем, — говорит она и ладонью проводит по щеке моей. — Ну, прощай. Война ведь. Может, и не увидимся.

— Я завтра приду к тебе. Ты мне нравишься.

— Я многим нравлюсь, — говорит она, — здесь ведь никого, кроме меня-то, нет.

Она бежит к машине. Она быстро бежит. А над немецкими окопами все чаще и чаще взлетают ракеты.

Эх, махорочка, махорка…

Так из затишья возникает гром, так в сером утре появляются нежданные краски: красное — на сером, рыжее — на сером, черное — на белом. Пламя, ржавое, искореженное железо, неподвижные тела.

Нина укатила с майором в штаб. Последняя ракета над немецкими позициями как последний цветок. Сейчас Нина кричит, наверное, в микрофон: «“Волга”, “Волга”, я — “Дон”… Как слышно? Прием…» А у меня в руках толстенькая, мирная такая мина. Сейчас я передам ее заряжающему. И миномет охнет, приседая на задние лапы. Я знаю, как будет. Ох, какой я уже опытный! И ладони мои уже не болят.

А Коля Гринченко сидит на опорной плите миномета. Он очаровательно улыбается. И поет тихонечко, для себя:

— Эх, махорочка, махорка…

— Немцы прорвались, слышал? — спрашивает Сашка.

— Пехота?

— Нет, танки.

— Сюда идут?

— По тылу ходят…

— Много?

— Штук сорок, говорят.

Высоко над нами плывут немецкие бомбардировщики. Им не до нас. Они сбросят бомбы далеко в тылу, в нашем.

— Будет медикам работенка, — говорит Сашка.

А Коля напевает:

— Эх, махорочка, махорка…

И тогда справа на сопочке разрывается немецкий снаряд. И в ответ дружно ударяют наши минометы. Все четыре. А потом еще раз. И еще.

А за нашей спиной вспыхивают рыжие кусты разрывов. И горячий ветер касается шеи. И в затылке противно ноет. Немецкая артиллерия отвечает все чаще и чаще.

— Нащупали! — кричит кто-то.

Я ношу и ношу мины. Я уже не задумываюсь ни над чем. Каждое движение привычно до черта. Десять шагов назад. Холодного шестнадцатикилограммового поросенка — в ладони. Десять шагов вперед. Можно даже с закрытыми глазами. Несколько раз туда и обратно. И пальцы сами расстегивают крючки шинели. И подхватывают снег, и заталкивают его в рот. И вдруг возникает глупая мысль: кончится бой, возьму сахар, смешаю со снегом — получится мороженое…

Десять шагов вперед. Десять — назад. Поросят — все меньше и меньше. Сколько времени прошло? Счастливые часов не наблюдают… В спину ударяет взрывной волной. Я не могу устоять. Я падаю.

— А-а-а-а-а-а!.. — кричит кто-то. И снова, уже слабее: — А-а-а-а!..

Это я сам кричу. Я вижу спины товарищей. Они ведут стрельбу. Они меня не видят. Слава богу! Все у меня цело, ничего не болит. Чего я раскричался? Вот если бы прямое попадание… Но это невозможно. Почему именно в меня? А почему бы и нет? И вдруг особенно сильный разрыв. И снова крик. Это уже не я кричу. Это кто-то другой кричит. Он так кричит, что нельзя не оглянуться. Я вижу, как Коля подбегает к нему, а потом закрывает лицо ладонями и бежит обратно. И, не добежав до своего миномета, останавливается и стоит, нагнувшись.

Кто там был, у первого миномета? Никого вспомнить не могу. Никого. Вот так начисто всех. А у Сашки на палочке не осталось места для зарубочек. А командир взвода Карпов кричит, чтобы мы свертывали позицию. И все быстро-быстро работают. Скорей, скорей… Сейчас разнесут нас немцы, если будем копаться. И уже минометы прицеплены к «ЗИСам». И мы выкарабкиваемся из ложбинки, где была наша позиция. Где будет новая наша позиция? Что ждет нас впереди? Все молчат. А у меня перед глазами — черные пятна на снегу, воронка и фигура в шинели, медленно бредущая к нам. Я не хочу думать об этом, а оно сидит в голове, и никак от него не избавиться.

— Вот и нету первого, — говорит Сашка.

— Нету, — говорю я.

— И ребят нету, — говорит Сашка.

— Помолчи… — это Шонгин требует. Он сидит, согнувшись.

А машины идут. И я не замечаю уже стрельбы. Я только вижу бледное лицо Коли. Он смотрит куда-то вперед и даже не

шевельнется.

— Слышь, Коль, — говорит Сашка, — скоро с Нинкой-то прощаться. В другую дивизию нас перебросят…

Коля сидит все так же.

— Помолчи, — говорит Шонгин.

— Сейчас еще танков не хватает по нашу голову, — говорит Гаврилов, они по тылам ходят.

Мы проезжаем мимо какого-то пожарища. Сарай стоял, наверное. Он сгорел. Дымятся головни. И пахнет так отвратительно тоскливо. Запах гари, запах гари… Это не то слово.

С новых позиций мы ведем огонь по врагу. Три наших миномета рявкают куда-то через холмы. А я подношу и подношу мины.

А ведь могло ударить в наш миномет. Не в первый, а в наш. И не подносил бы я мин. Может быть, я шел бы по полю, медленно, враскачку, а потом упал бы. Здесь пока спокойно. Нас пока не накрыли. И снова:

— Отбой!

И опять — по машинам. И — в ночь, в ночь, в темень.

Мы топчемся в темноте вокруг машин. Цепляем минометы. А где-то высоко, в черном небе, гудят бомбардировщики.

— Наши идут.

— А днем-то их не видать.

— Пусть хоть ночью.

Подходит командир взвода младший лейтенант Карпов. Он руки потирает. Щеки потирает. Замерз или волнуется наш командир взвода?

— Опять переезжаем? — спрашивает Сашка Золотарев.

— А как же, — говорит Карпов, — вперед идем, ребята. Хватит отсиживаться…

— Отсиживались… — говорит Шонгин, — вон скольких потеряли!

— Война, — говорит Карпов тихо, — уж вам ли, Шонгин, старому солдату, говорить об этом?

Все молчат. Слова — это просто смешно. Действительно, война. Ну что тут скажешь? Карпов виноват? Вон он какой, краснощекий, молодой, энергичный… Я виноват? Коля?

Мы сидим в машине. Бездорожье. Машину покачивает, как корабль. Мы покачиваемся из стороны в сторону. Хорошо еще, что едем. А то ведь могло развезти все кругом. Попробуй потаскай на себе «ЗИСы». Мы едем. Идет снег пополам с дождем. Мы промокаем постепенно. Сначала это даже хорошо: прохладно становится после запарки. И холодные капельки уютно затекают

за шиворот. А вот сейчас уже бы ни к чему. Хватит. Я знаю, через минуту нас начнет бить мелкая дрожь. И тогда попробуй-ка согрейся. И ноги замерзают. Быстро и наверняка. И мы движемся в сторону нового боя. Уже ясно слышны разрывы и автоматные трели. И озаренное небо выплывает из-за холма.

«Где ваша дочь?..»

Как все хорошо складывается. Завтра напишу письмо домой. Я жив. Что осталось от батареи? Два миномета и не больше тридцати человек. А я жив. Меня даже не царапнуло. Завтра напишу письмо. Домой.

— Давай постучимся… — говорит Сашка Золотарев.

Ночь. Хатка какая-то. Окна темны. Я стучу в ставню. «Мадам, не будете ли вы столь любезны…» Никто не отвечает. «Мадам, я остался в живых. О, если б вы знали, что там было!..» Я стучу в ставню. «Ботфорты — сюда, мундир — в гардероб, шпагу — на стул…» — «Благодарю вас… А где же ваша дочь?..»

— Спать… Спать… Спать… — говорит Коля.

Я стучу в ставню. «Вальдшнеп?.. Сыр?.. Вино?..» — «О, благодарю вас. Ломтик холодной телятины и ром. Я солдат, мадам». Я стучу в ставню.

— Замерзнем к черту.

— Пошли в другую.

— Еще разок постучи.

Я стучу в ставню. Сашка стучит в ставню. Коля стучит в ставню.

«Вот ваша комната. Спокойной ночи». — «Спокойной ночи, мадам. А где же ваша дочь?..»

— Чего вам еще?

На пороге раскрытой двери — женщина. Она закутана.

— Нам бы переночевать, мамаша.

— Мы в живых остались, — говорю я.

— Радость-то какая… — говорит женщина, — только вас и не хватало.

— Мы зайдем? — спрашивает Коля.

— Холодно очень, — говорит Сашка.

— Мы переночуем только и уйдем, — говорю я.

В сенях холод. В комнате тепло. Чадит коптилка. Кто-то ворочается на печи. Комната маленькая. Куда мы все ляжем? Женщина сбрасывает платок. Она совсем молодая.

— Ложись сюда, — говорит она Коле. Она в угол показывает. Хорошее место у Коли. — А ты сюда, — говорит она Сашке.

Золотарев ложится на свою шинель, расстелив ее под столом.

И Коля молча раздевается. А меня устраивают на короткой лавке под печкой. Лежать можно только на боку. А, черт с ним! Лишь бы лежать. А сама хозяйка ложится на койку. На раскладную. Заваленную каким-то тряпьем. Она лезет под это тряпье, не снимая полушубка.

Я кладу шинель на лавку. Гаснет синий огонек коптилки. Чья-то рука проводит по волосам моим.

— Лезь ко мне, — говорит с печки тихий голос, — у меня тепло.

— А ты кто?

— Какая разница? Лезь. У меня тепло.

— Манька, — равнодушно говорит хозяйка, — смотри у меня…

— Тебя не спросилась, — говорит Манька с печи. А рука ее гладит меня, гладит. — Лезь сюда.

— Обожди, ботинки сниму.

— Лезь. Какая разница?

Вдруг услышат?.. «Где ваша дочь, мадам?..» Вдруг услышат… Вот тебе и дочь!.. Возле Маньки тепло. Если я прикоснусь к ней, все полетит к черту. Манька… Неужели так и называть?

— Тебя как зовут?

— Мария Андреевна…

Вот тебе раз! Как же так… У нее горячий упругий живот, руки маленькие, цепкие.

— Сколько вам лет?

— Шестнадцать. А что?

— Тишшше…

— А что? А что?

— Услышат…

— Пусть… Иди поближе.

— Манька, — говорит хозяйка, — ой, смотри, Манька…

— Сама разберусь, — говорит Манька. А внизу покашливает Сашка Золотарев. А Коля говорит:

— Хозяйка, а тебе не холодно?

А Мария обвилась вокруг меня, и уже не понять, где я, где она. Все перепуталось.

— А сердце-то у тебя ой как бьется, — смеется она прямо в ухо, — испугался, что ли?

А Коля спрашивает:

— Тебе не холодно, хозяйка?

Так просто? И Нина вот так же? И все?..

— Ты что, неживой, что ли?

— Пусти меня.

— Да уж я шучу, дурачок…

— Пусти, Мария…

— Мария… — говорит хозяйка, — как же, Мария. Дура белобрысая, а не Мария.

— Пусти, хуже будет.

— Ну давай так полежим, ладно?

— Пусти…

— Ну и вались на свою лавку, раз тебе с людьми тесно.

…На лавке — прохладно. Сашка покашливает. Коля говорит из своего угла:

— Хозяйка, замерзла ведь в тряпье-то. Хочешь, шинелью накрою?..

…Кто-то ходит по хате. И что-то шепчет. Это тихий торопливый шепот. Слов я не разбираю. Это, наверное, Мария там, на печке. А может быть, это хозяйка. А может быть, это и не шепот, а тишина. Но кто-то всхлипывает. Как трудно, наверное, в этом маленьком поселке. А меня завтра засмеют. Засмеют, засмеют! И поделом мне. Сама просила. Уговаривала… Засмеют. Утром встану пораньше, пойду в другую хату, или в штаб пойду, или в машину пойду… А она как огонь горячая. Мария Андреевна. Она первая смеяться будет. Шестнадцать лет… Коля про таких говорит «кровь с молоком»… А кто-то и в самом деле плачет. Или это за окном?

— Кто это? — спрашиваю я.

— Не ори, — говорит хозяйка, — лег и спи.

Это у меня бред. А меня засмеют, засмеют… И все-таки кто то плачет. А может быть, это Мария смеется?..

Утром Сашка Золотарев говорит:

— Похоже, что здесь припухать. Комбат картошку ест. Машины разбиты.

Сашка уже умылся. От него пахнет морозом. Щеки у него, как у ребенка, пунцовые. Уже успел все разузнать. А Коля спит. А в хате — ни Марии, ни хозяйки.

— Что ж с нами теперь будет? — спрашиваю я.

— А ничего не будет, — говорит Сашка, — подождем новую технику — и снова.

— А машины побиты?

— Начисто.

— А кухня работает?

— Какая там кухня…

Сашка достает из мешка три пачки горохового концентрата.

— Вот выдали. Будем варить. Колю-то будить надо. Вставай, Мыкола!

И вдруг входит хозяйка. И снимает платок с головы. И я вижу, что она совсем молодая. И красивая.

— Вставай, Мыкола, — говорит Сашка. Но Коля спит.

— Зачем будишь-то? — спрашивает хозяйка. — Пускай его спит. Устал ведь.

Она говорит строго очень, а сама все на Колю смотрит.

— Давай сварю, — говорит она и берет у Сашки концентрат.

…Мы сидим за столом. Мы молчим. Едим похлебку гороховую. Мы едим деревянными ложками. А у меня ложки нету. Вот уйдем отсюда, и достану я свою дощечку. А уж этой деревянной сейчас поем. Давно ложки у меня не было… Мы едим гороховую похлебку, хлеба нет. Коля ест медленно. Изредка на хозяйку посматривает. А она сидит напротив. И тоже иногда на него глядит. И все. А я жду, что Мария вот-вот начнет смеяться. А она и не смотрит на меня. Я сейчас только и разглядел ее как следует. Она курносая такая. И лицо широкое. И на лоб смешная челочка спадает. А на носу несколько крупных не то веснушек, не то просто родинок.

— Ну как, конопушечка, — говорит ей Сашка, — как жить дальше будем?

— Проживем, — говорит Мария.

— Вкусная штука получилась, — говорит Коля и смотрит на хозяйку.

— А что это вы друг на друга и не похожи вроде? — спрашивает Сашка. Живете вместе, сестры как будто, а не похожи…

— А мы и не сестры, — говорит Мария, — мы чужие. Просто живем вместе.

— А похлебочка-то ничего получилась, — говорит Коля. И смотрит на хозяйку. А она ничего не говорит. И вдруг входит Шонгин.

— Ну вот, принесло, — громко говорит хозяйка.

А Шонгин садится на табурет.

— Много народу побило, — говорит он, — и раненые есть. Увезли. — И достает кисет.

— Покурим? — спрашивает Сашка.

— А чего курить? — говорит Шонгин. — Тут и на одну не наберется. — И показывает кисет.

— А ты где спал, Шонгин? — спрашивает Коля.

— А я и не спал, — говорит Шонгин, — раненых больно много было. Пока всех подобрали — и утро.

— Сейчас бы покурить, — говорит Сашка.

— Покури, покури, — говорит Шонгин и затягивается. Он пускает большие клубы дыма. И говорит: — Вот зашел поглядеть, как вы тут.

А хозяйка наливает в чашки молоко. И Коля говорит:

— Слышь, Шонгин, концентрату тебе не хватило. Может, молока попьешь?

— Козье молоко, — говорит Мария.

— А я уже ел, — говорит Шонгин, — ел. Гургенидзе ранило. Я супу сварил ему и себе.

Бедный маленький грузин. Совсем мальчик. С вечной каплей на носу. «Попадался — не попадайся…»

— Сильно его, Шонгин?

— Приблизительно ничего себе, — говорит Шонгин, — на машине лежит, на последней. Сейчас повезут.

Я бегу по свежему снегу. К машине. Возле нее ходят солдаты. Гургенидзе лежит на соломе, в кузове. В обгорелой шинели. Он поднимает забинтованную голову. На кончике носа повисает капелька.

— Попадался, — грустно улыбается он.

А мы с ним не дружили. Так, знали друг друга. А у него покрасневшие веки часто-часто вздрагивают.

— Куда тебя?

— Голова попадался, живот попадался, нога тоже попадался… Шонгин мэня носил на своем спина…

— Ничего, Гургенидзе, теперь отдохнешь. Все хорошо будет.

Мотор тарахтит. Гургенидзе откидывается на солому. Руки у него на груди сложены.

— Какой у нас часть? — спрашивает он. — Какой номер?

— Отдельная минометная батарея, друг.

— Нэт, полк какой?

— Кажется, 229-й…

— А дивизия какой?

— А зачем тебе?

— Госпиталь спрашивают…

Мотор гудит ровно. Кузов подрагивает.

— Какой дивизия?

— А черт ее знает! — кричу я.

Машина идет по свежему снегу. Рука Гургенидзе торчит из кузова. Это он прощается с нами. Уехал, уехал… А ложку забыл я у него выпросить!

Комбат говорит мне:

— Собирай всех. Пора. Отдохнули.

…В хате нет никого. За домом на бревне сидит хозяйка и Коля. Она молчит. Голову подперла ладонью. Глаза у нее красные. Губы, как у девочки, надуты. А Коля курит и тоже молчит.

— Пора, Коля, — говорю я, — комбат приказал…

— Знаю, — говорит он и встает. И смотрит на меня. Я жду

его.

— Знаю, — говорит он.

Я ухожу. Пусть прощаются.

Дорога

— Видал у немцев машины? — спрашивает Коля. — Брезент, и все такое. Сидят, как дома. А тут…

— Я же ног не чувствую, — говорит Сашка Золотарев. — Я бы валенки обул. Пимы. Морда — черт с ней, главное — ноги. Может, у меня большой палец уже отвалился, а? Сниму ботинок, а он выпадет.

А мне бы не валенки. Мне хотя бы сапоги. С широким голенищем. Чтобы они как корабли. Встал в воду — ничего, встал в снег — ничего. Хоть ночь стой. Пожалуйста.

Степь, степь, степь. Когда мы остановимся? Идет наступление. Кочует наша батарея. То в одну часть ее направляют, то в другую. Где-то, неизвестно где, остался полк, которому были мы приданы. А там — Нина. Нина, Нина, очень ты мне хорошо улыбалась. И не могу я тебя позабыть. Кто ты и откуда? Ничего мне неизвестно. Где я тебя разыщу? Все померкло, потускнело все, что было. Где-то Женя в тумане, вдали. Только ты, Нина. И зачем ты так хорошо со мной говорила?

— А я во сне разговариваю? — спрашиваю у Коли.

— Один раз говорил. С Нинкой Шубниковой.

— Что?

— Садись рядом, Нина. Ну, садись. Посидим, покурим, — так говорил. Потеха.

— А она тебе про меня говорила?

И зачем спросил? Сейчас он посмеется. Выдумает что-нибудь…

— Нет, не говорила, — хмурится Коля. — Чего говорить. Она с начальником штаба полка живет. Помнишь, майор такой высокий?

Помню, помню. Если бы он этого не сказал, теплее было бы. Если когда-нибудь встречусь с ней, ну просто так, случайно, ведь может быть такое, я ей скажу…

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — вот была беда, это уж в самом деле горе. С марша пришел, а спать нельзя: коня расседлай, напои, накорми, а время останется — сам отдыхай.

— А у англичан официантки солдат обслуживают, — говорит Коля, — и к обеду — коньячок.

— Врешь ты все, Гринченко, — ворчит Шонгин.

Машины стоят. Впереди — пробка. Вечереет.

— Слезай, ребята. Грейся. Писем из дому нет. Что там?..

— Шонгин, ты из дому письма получаешь? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня внимательно.

— Получаю, а как же, — говорит он, достает кисет и предлагает мне закурить: — На-ка вот. Погрейся.

Если до утра вот так простоим, можно простудиться окончательно. Какие у Шонгина глаза были! Ласковые, добрые. Вчера, когда мы концентрат гороховый варили, он мне и Коле в котелки насыпал по горсти пшена. Пшено разварилось — густо было. Сам ведь подошел: «Ну-ка, ребятки, добавочки я вам насыплю…»

— Шонгин, дай закурить, — говорит Сашка.

Шонгин топчется на месте: ноги греет.

— И так хорош, — бубнит он.

Когда темно, снега не видно. Словно теплей становится. Подходит командир взвода Карпов. У него всегда румяные щеки. Даже в сумерках это видно.

Он смеется:

— Что, вояки, замерзли?

— Замерзнешь, — говорит Коля, — старшине-то тепло. Он о радиатор греется. Может, костер разведем, товарищ младший лейтенант, а?

— Никаких костров, — говорит Карпов.

Шонгин, как сторож, топчется по снегу и рукой постукивает по котелку.

Подходит Гаврилов и говорит тихонько:

— Ребята, впереди машины с крупой какой-то… И водители спят…

— Ну и что? — спрашивает Шонгин.

— А ничего, — говорит Гаврилов, — я к тому, что спят водители.

— А неплохо бы нам по котелку крупы отсыпать, — говорит Сашка Золотарев.

И он уходит в темноту, туда, к машинам, где спят водители. И все глядят ему вслед. И все молчат.

Если это пшено, можно сварить кулеш. Если гречка — ее хорошо с молоком. Если перловка — с луком. Вытерплю я до утра или нет? Все промокло на мне. Все. Вдруг я заболею воспалением легких?

Из дому писем нет. Где же ты, почта полевая?

Школяры

Я заряжаю автоматные диски. Заряжаю и молчу.

— О чем грустишь, ежик? — спрашивает старшина.

А мне трудно ему ответить. Что я отвечу?

— Это я так, — говорю я, — дом вспомнил…

Тебе-то хорошо, старшина. Ты яичницу ешь. А мы гороховый концентрат всухомятку жрем. Тебе-то хорошо, старшина. А мы которые сутки толком выспаться не можем…

— Наши к Ростову подошли, — говорит старшина.

…У тебя вон какая физиономия жизнерадостная. А нас все меньше и меньше. И этот песочек моздокский скрипит на зубах у меня и скрипит на душе. Дал бы ты мне, старшина, сапоги, что ли. Потрескалась картонная подметка на моих американских ботинках. Я ведь ноги в костер сую, когда холодно. А ботинки красивые, красные. А что от них осталось?

— Ты бы, ежик, ботинки тавотом смазал, — говорит старшина, — смотри, они у тебя совсем никудышные.

…А какие ботинки носил я перед тем, как в армию ушел? Не помню. Или у меня были модные туфли шоколадного цвета и белый рант, как полоска прибоя? Или я об этом только мечтал? Наверное, носил я черные ботинки «скороходовские». А зимой калоши надевал. Да, да, калоши. На последнем комсомольском собрании я их в школе забыл. Забыл. Пришел домой без калош. А уж война была, и никто не заметил моей пропажи. Так и ушел я. А были у меня новые калоши. Глянцевые. А теперь не знаю, будут ли у меня такие?

А когда было последнее комсомольское собрание, Женя сидела в углу. Она ничего не говорила, пока мы брали слово один за другим и клялись погибнуть за Родину. Потом она сказала:

— Мне жаль вас, мальчики. Вы думаете, это так просто — воевать? Войне нужны молчаливые, хмурые солдаты. Воины. Не надо шуметь. Мне жаль вас. И ты… — она кивнула на меня, — ты ведь ничего не умеешь еще, кроме чтения книжек. А там — смерть, смерть… И она очень любит вот таких молоденьких, как вы.

— А ты? — крикнул кто-то.

— Я тоже пойду. Только я не буду кричать и распинаться. Зачем? Я просто пойду.

— А мы тоже пойдем. Что ты нам нотации читаешь?

— Нужно быть внутренне готовым…

— Заткнись, Женька…

— Иначе никакой пользы от вас не будет.

— Заткнись!..

— Хватит, — сказал комсорг, — что это мы, как семиклассники, расшумелись?

А когда я в воротах тебя поцеловал, да так, что ты охнула и сама меня обняла, это что же? Это, значит, я, кроме книжек, ничего не умею?

— Завтра поедем минометы получать, — говорит старшина, — еще ночь понежишься, ежик.

— Какие минометы? — спрашиваю я.

— А ты не спи. Завтра пополнение придет. Будешь обучать сосунков?

— А разве я смогу?

— Что ж, тебе три года воевать, чтобы школярам наше дело объяснить?

Наше дело? Мое дело? Это о минометах? Я буду обучать?

— Буду, — говорю я.

…Школяры. Я ведь тоже был школяром. А теперь я не школяр, значит? А на том собрании я был школяром. И когда все зашумели, и я зашумел. Женя сказала:

— Вы шумите, как школяры. А ведь там этого нельзя. Там нужна суровость.

И она посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. Кто-то сказал, что, если девушка любит, она не выдерживает взгляда — краснеет и опускает глаза. Значит, она меня не любила. Не любила.

— Пошли всем классом! — крикнул кто-то.

— Пошли! — крикнули мне.

— Заткнись, — сказали мне, — заткнись, трепло…

Потом вошел директор школы, и комсорг сказал:

— Ладно, продолжим повестку дня.

А на повестке стоял один вопрос: учеба комсомольцев.

— Когда с дисками кончишь, зайдешь в каптерку, — говорит старшина и уходит.

…А после собрания мы шли по набережной все вместе. И Женя шла с нами и только не смотрела на меня. Было темно. Настороженно.

— А десятого нам не видать, ребята, — сказал кто-то. И тотчас завыла сирена. А я очутился с Женей.

— Значит, мы — школяры? — спросил я.

— Конечно, — сказала она миролюбиво.

— Значит, из нас воины не получатся?

— Конечно.

— Чтобы быть воином, нужно быть широкоплечим, да?

— Да, — засмеялась она.

— И равнодушным, да?

— Нет, — сказала она, — этого я не говорила.

— Пойдем туда, — я указал в темный переулок.

Мы шли по переулку. Было еще темнее. Еще настороженнее. И вдруг распахнулось окно. С треском. На третьем этаже. И оттуда посыпался смех. А потом поплыла музыка. Патефон играл старое довоенное танго.

— Как будто ничего и не случилось, да?

— Да, — сказал я.

Окно захлопнулось. Музыка стихла. И снова завыла сирена.

…Я зарядил все диски и иду в каптерку. Это не каптерка, а обыкновенная изба, где старшина остановился.

Старшина греет руки у печки. Наш комбат сидит за столом. Пишет. А комвзвода Карпов, розовощекий такой, бреется у окна. И сквозь белую мыльную пену видно, какие розовые у него щеки.

А перед комбатом стоит руки по швам Сашка Золотарев.

— Значит, воровал чужое пшено? — спрашивает комбат.

— Воровал, — вздыхает Сашка.

— Чужую кашу съел! Когда воровал, думал, что другой голодным останется?.. Думал?..

— Думал, товарищ лейтенант.

— И что же?

— Хотел сам наесться…

— А ты знаешь, что за это?..

— Знаю, а как же… — тихо говорит Сашка.

— Он всем раздал, — говорю я с порога.

Комбат смотрит на меня пронзительно. Ударит? Хоть бы ударил.

— Жулье, а не батарея! — говорит он.

— Разболтались, — говорит Карпов. — Это у них Гринченко — образец… Все про любовь да про жратву разговоры…

— Ладно, Карпов, брейся, — говорит комбат, — я же о другом.

А мне хочется спросить Карпова, где он был, когда мы, необстрелянные, под совхозом № 3 первый бой принимали. Он тогда в училище по режиму питался…

— Кругом! — кричит на меня комбат.

Я иду к себе. Может быть, Женя и права? Может быть, я и в самом деле школяр? Скоро кончится зима. Скоро мы вернемся на передовую. Вот тогда посмотрим, какой я школяр… И опять я встречу Нину. «Привет, малявка, скажет она, давно мы с тобой не виделись. Посидим, покурим, а?»

Еще разговоры

Мы стоим в разбитом населенном пункте уже четвертые сутки. Здесь был совхоз.

Большой искромсанный ветряк, как печальная птица, смотрит сверху на нас.

Здесь сошлись потрепанные батареи, обескровленные батальоны, поредевшие в наступлении полки. Здесь в бывших блиндажах возникли склады, и невыспавшиеся интенданты раздают, выдают, снабжают.

Здесь проходят дороги на север. Туда ушло наступление. Оттуда все глуше доносится канонада. А по этим дорогам торопятся на передовую новые части. В новом обмундировании. Как с иголочки. На новых машинах. И они разглядывают нас с любопытством и почтением, со страхом и завистью.

Я уже давно не видел Нину. Я уже забываю ее лицо. Я уже забываю ее голос. Как быстро все на войне…

Коля Гринченко начистился, отоспался. Снова весел. Сашка Золотарев через каждые два часа варит себе что-нибудь в котелке в добавление к общей еде. И спит.

Глазки у него совсем маленькие. Щеки еще пунцовее. Теперь и не поймешь, у кого пунцовее — у него или у Карпова. А младший лейтенант Карпов ходит победителем в своем овчинном полушубке, в лихо сдвинутой шапке, с прутиком в руке. Он этим прутиком похлестывает себя по голенищам, как теленок, хвостом отгоняющий мух.

Голос у него стал звонче. И почему-то мы с ним чаще сталкиваемся.

— Ему делать-то нечего, — говорит Коля Гринченко, — вот он и суется куда ни попало.

— Командир, — говорит Шонгин.

— На передовой-то его и не слышно было, — говорит Сашка, — скоро воспитывать начнет.

— Командир, — говорит Шонгин. — Как же без этого?

— Он скоро до нас доберется, — говорю я, — вон он как на Колю все поглядывает.

— Он меня не любит, — говорит Коля, — вот комбат, тот любит. А этот нет.

— Комбат — это, конечно, другое дело, — говорит Шонгин, — этот с веточкой ходить не будет.

— Он умный, наш комбат, — говорит Сашка Золотарев.

Подходит младший лейтенант Карпов. Он бьет по голенищам веточкой. Он говорит Коле:

— Ты что, Гринченко, пряжку морскую носишь? Мы ведь артиллерия.

— Так точно. Артиллерия, — говорит Коля и улыбается.

— И поэтому сними пряжку и спрячь ее на память.

— Есть снять пряжку, — козыряет Коля и улыбается.

— Я ведь серьезно говорю, — говорит Карпов сдержанно-сдержанно, здесь на фронте эти фокусы ни к чему.

— Так точно, — говорит Коля и улыбается.

Карпов оглядывает нас. Мы не улыбаемся. Сашка смотрит в сторону. Шонгин стоит смирно, руки по швам. А я хочу встать смирно, а не могу. То левая нога согнется, то правая.

— Снять и доложить, — говорит Карпов. И ударяет веточкой по голенищу. И уходит.

Коля торопливо снимает пряжку с ремня. Красивую пряжку с якорями.

— Так я же не противился, — говорит он, — что это его?

— Командир он, — говорит Шонгин, — а ты молокосос. А ну-ка тебя так…

Коля уходит, размахивает ремнем.

— Нарвется, — говорит Сашка Золотарев. Не понятно, о ком это он: о Карпове или о Коле. Мы уходим тоже. В свою избу. В ней тепло. Коля сидит на лавке. Меняет пряжку.

— Уйду к разведчикам. Лихие ребята, — говорит он. Мы сидим и молчим. Сидеть надоело, молчать — тоже, говорить — тоже. Пополнения нету.

— Отправили бы куда-нибудь подальше, все равно без дела сидим, — говорит Сашка. — Поехали бы мы в городишко… В увольнительную ходили бы. В парке, наверное, оркестр играет. Скоро яблони цвести начнут…

— Тебе бы Карпов дал бы там, — говорит Коля.

— Яблони и без тебя зацветут, — говорит Шонгин, — а оркестров сейчас нету. Ни к чему они вроде… Вот когда я на фронт уходил, тогда оркестр играл.

— Это был последний оркестр, — говорю я, — потом всем дали пулеметы. Все пулеметчиками стали.

— Ээ, болтать-то, — говорит Шонгин.

— Да, да. Теперь оркестры не играют. Теперь только тогда, когда город какой-нибудь освобождается.

…А когда я уходил, оркестр не играл. Была осень. Шел дождь. И мы с Сережкой Гореловым стояли на трамвайной остановке. И на нас были вещевые мешки. А в кармане лежал пакет из военкомата. И в нем — наши направления в отдельный минометный дивизион.

— Сами доедете, — сказал нам начальник второй части, — не маленькие.

Мы и поехали.

Никто нас не провожал. И Женя не пришла. Мы ехали по вечерней Москве и молчали.

А на Казанском вокзале было страшно тесно. И мы сели на

пол. И это нам нравилось. Сережка курил и все время сплевывал на пол. Мы с ним играли в солдат, и нам нравилась игра. А я все время поглядывал по сторонам: может быть, увижу Женю. Нет, оркестры не играли нам на прощание. Только на возвышении стоял рояль, и к нему подсел какой-то хмельной морячок и заиграл старинный вальс. И все замолчали и стали слушать. И я слушал, а сам все время поглядывал по сторонам: не идет ли Женя.

Это был какой-то незнакомый вальс, но чувствовалось, что он старинный. Даже дети, которые плакали, вдруг перестали плакать. А морячок раскачивался на стуле, и длинный чуб его свисал и касался клавиш.

— Вот мы с тобой и солдаты, — шепотом сказал мне Сережка.

Морячок играл старинный вальс. Женщины, дети, старики, солдаты, офицеры… И я был счастлив, что сижу на полу вокзала, что рядом — мой вещмешок, что я солдат, что завтра, может быть, дадут мне оружие.

И я был счастлив, что я с ними, что хмельной морячок играет на рояле. И мне очень хотелось, чтобы Женя появилась здесь и увидела нас в этом мире, к которому мы причастились, который так не похож на наши дома, на нашу вчерашнюю жизнь…

А морячок играл старинный вальс. В зале было душно. Но никто не шумел. Все слушали музыку. Они и раньше слушали музыку. И наверное, получше этой. Но эта была особенная. И потому все молчали.

А вальс все звучал и звучал. И офицер с красной повязкой, и два солдата комендантского патруля тоже слушали. Офицер — хмуро, солдаты — удивленно.

— Вот мы с тобой и солдаты, — сказал Сережа.

А морячок продолжал играть. И длинный чуб его полоскался по клавишам. Потом он вдруг опустил руки. Они соскользнули вниз и повисли. А голова ткнулась в клавиши, и рояль издал странный грустный звук. Все молчали. И тогда к морячку подошел офицер с красной повязкой на рукаве, и козырнул, и что-то сказал. Вдруг все, кто был ближе, закричали на офицера.

— Что же это, братишки… — сказал морячок, — а если мою мамашу фрицы сожгли?

— Сидит здесь в тылу, — сказал Сережа, — пошел бы туда, знал бы, как с повязкой ходить…

— И чего он привязался? — сказала какая-то женщина.

И тогда я побежал туда и крикнул офицеру:

— Ты, штабная крыса, нечего к людям приставать!

Офицер не слышал меня. А один из патрульных солдат сказал мне устало:

— Иди-ка, парнишка, домой.

…Фронтовые сумерки лезут в окна. Света мы не зажигаем.

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — мы, бывало, с марша придем, коней накормим и давай кулеш варить.

— А старшина сегодня опять сахару недодал, — говорит Коля.

— Стала мне теперь жена по ночам сниться, — говорит Сашка Золотарев, — не видать нам, ребята, увольнительных.

— Когда я учился в восьмом классе, — говорю я, — у нас учитель по математике был очень смешной. Только отвернется, а мы подсказываем, а он за это двойку, да все не тому…

В пути

Мы отправляемся на базу армии за минометами. Мы — это младший лейтенант Карпов, старшина, Сашка Золотарев и я. Карпов забирается к водителю в кабину, мы трое устраиваемся в кузове старенькой нашей полуторки.

И машина идет. Надоело это глупое сидение в населенном пункте. Лучше ехать. И все надоело. Мы улыбаемся с Сашкой и подмигиваем друг другу.

Старшина устроился возле самой кабины на мягком сиденье из пустых американских мешков. К кабине прислонился, руки сложил на животе, ноги короткие вытянул и прикрыл глаза.

— Едем, ежики, — говорит он, — смотрите не вывалитесь, пока я вздремну.

Едем.

Может быть, Нину где-нибудь встречу. «Газик» идет легко, потому что подморозило. Он торопится с холма на холм. А впереди — тоже холмы. А за ними — другие. Нам ехать-то всего сорок километров. Это такой пустяк. Посмотрю, как там в глубоком тылу поживают.

Дорога не пуста. Машины, машины… Танки идут. Пехота идет. Все — к передовой.

— А под Москвой сибиряки немцев причесали, — говорит Сашка. — Если бы не они, кто знает, как вышло бы.

— Сибиряки все одного роста, — говорю я, — метр восемьдесят. Специально подобраны.

— Дурачки, — говорит старшина, не открывая глаз, — при чем мамины калоши? Техника под Москвой все решила, техника…

А какой смысл спорить? Пусть себе говорят. Я знаю хорошо, что там было. Мне очевидцы рассказывали. И когда шли сибиряки, немцы катились на запад без остановки. Я знаю.

Потому что сибиряки стояли насмерть. Они все охотники, медвежатники. Они с детства смерти в глаза смотрят. Они привыкли. А мы? Вот на нас танки пойдут, ведь мы глаза закроем. И не потому, что мы трусы. Просто мы не привыкли… Смогу я на танк выйти? Нет, не смогу. С минометами это проще.

Тут передовая далеко. Стреляй себе, постреливай, позицию меняй. А лицом к лицу… Хорошо, что мы не пехота.

Вдруг наша полуторка останавливается. Впереди дорога пуста. Только далеко-далеко какой-то одинокий маленький солдатик стоит и смотрит в нашу сторону. Старшина спит. Мы с Сашкой соскакиваем на дорогу. Младший лейтенант Карпов спит в кабине. Нижняя губа у него отвисла, как у старика. Водитель поднял капот.

А солдатик бежит к нам. Маленький солдатик. Меньше и не придумаешь. Он бежит к нам и размахивает руками.

— Гляди, гляди, — говорит Сашка. — Сибиряк бежит.

Я смеюсь. Очень уж маленький этот солдатик. Вот он подбегает к нам, и я вижу, что это девочка. Она в шинели. Аккуратно затянута ремнем. И на плечах — погоны старшины. А лицо маленькое, и нос на нем как крохотный бугорок.

— Подвезите, ребята. Целый час торчу. Все машины — к фронту, а обратно ни одной. А мне вот так надо, — говорит она и проводит рукой по горлу.

Я помогаю ей взобраться в кузов. Мы с Сашкой отдаем ей свои плащ-палатки, и она садится на них.

— Вы откуда, мальчики?

Мы киваем в сторону передовой.

— А пятнадцатая уже шла?

Мы переглядываемся с Сашкой и пожимаем плечами. Наш «газик» наконец трогается. Старшина спит. Он даже всхрапывает.

— Это потрясающе! — говорит наша попутчица и смеется. — Храпит, как на печи.

— Он поспать любит, — говорит Сашка.

Когда она смеется, губы у нее уголками загибаются кверху. Как у клоуна.

Старшина! А я солдат. А куда она такая маленькая, тоненькая, совсем девочка?

Что случилось: всех подняло, понесло, перепутало?.. Ползают школьники по окопам, умирают от ран, безрукими, безногими домой возвращаются…

Девочка-старшина… Что случилось?

— Сорок «юнкерсов» позавчера на базу налетели, — говорит она, — это потрясающе! Мы с ног сбились.

— А что бы на передовой ты делала? — спрашивает Сашка. —

Там ведь и похуже бывает.

— Плакала бы, наверно, — говорит она и смеется.

…Что случилось?.. Плакала бы, конечно. Я ведь тоже почти плакал. Перед войной я смотрел кинокартину. Там все бойцы были как бойцы: взрослые, опытные, они знали, что к чему. А я не знаю, Сашка не знает, и эта девочка не знает… А старшина спит, и Карпов — настоящий командир, хоть и хмурый…

— Меня зовут Маша, — говорит она. — Я старшина медицинской службы. Я в классе всех мальчишек била.

— А ты похвастаться любишь, да, старшина? — говорит Сашка.

Старшина просыпается. Он долго смотрит на Машу.

— Ты еще откуда взялась? — спрашивает он.

— А можно не тыкать? — спокойно говорит Маша.

У старшины шапка ползет на затылок:

— Да как ты со мной разговариваешь?

— Это потрясающе, до чего безграмотный мужчина, — обращается она к нам.

Мне хочется смеяться. Старшина долго разглядывает Машу, потом замечает нашивки на ее погонах.

— Я вас спрашиваю, товарищ старшина, откуда вы?

Машина снова останавливается. Водитель снова поднимает капот. Из кабины выходит Карпов.

— Как там дела? — спрашивает он у нас.

— Ваши солдаты замерзли тут, пока вы спали, — говорит Маша.

— Ого! — говорит Карпов. — Какой приятный пассажир. А вы-то не замерзли?

И он приглашает ее в кабину.

Она легко выпархивает из кузова. Машет нам рукой приветственно.

Как, должно быть, в кабине тепло!.. От мотора воздух жаркий, сидеть мягко. Вся дорога — как на ладони.

Карпов лезет за ней.

— Нет, нет, — говорит она, — может быть, мне вернуться, товарищ младший лейтенант?

— Сидите уж, — холодно говорит Карпов. Он забирается в кузов.

— Что это ты, Золотарев, ноги растопырил? — говорит он. — Сидеть по-человечески не умеешь, что ли?

…Едем. Уже темнеет. Если через полчаса не будет базы, замерзну к черту.

Сашка весь замотался, только нос виден. Красный толстый нос.

— Человеку кровать нужна, а не кузов, — бубнит он, — и теплая печка, и еда повкусней, и любовь…

— А работать кто будет, ежик? — спрашивает старшина.

Когда вернусь домой, буду хорошо учиться. Спать буду ложиться в десять часов вечера. Зимой надену меховую шубу, чтобы никакой черт меня не взял…

Мы останавливаем какую-то машину. Спрашиваем. Оказывается, до базы еще около восьмидесяти километров.

— Как же так? — удивляется Карпов. — Ведь сказали: сорок.

— Другой дорогой надо было ехать, — отвечают с машины.

— Проспал дорогу, черт, — шипит Сашка.

Выходит из кабины Маша.

— За первым поворотом отсюда — совхоз № 7, — говорит она.

— Правда?

— Я неправды не говорю, к вашему сведению.

…Мало домов осталось целыми в этом совхозе. Мало. Но когда сводит пальцы, и губы закоченели, и ноги как деревянные — какая разница, сколько домов? Есть дома, и в них пускают, и в них тепло, и можно попить кипяточку.

Карпов выбирает дом побольше и поцелей и приглашает туда Машу:

— Тут вам будет удобнее. — И обращается к нам: — А вы, друзья, вон в тот, окно светится.

— Я пока у машины побуду, — говорит водитель, — после смените меня.

Я смогу выдержать еще одну минуту. Мы с Сашкой бежим к дому. Нам открывает девочка. Она в платке. В валенках.

— Кто пришел? — спрашивают из комнаты.

— Это наши, мама, — говорит девочка.

Девочку зовут Вика. Ее мама тоже в платке и в шали. Она похожа на мою маму.

Очень. Она приглашает нас в комнату. Мы сбрасываем шинели.

— Не найдется ли у вас кипяточку? — спрашиваю я замерзшими губами.

Мы вываливаем на стол дубленые свои сухари.

— Больше, хозяюшка, ничего не имеем, — говорит Сашка, — рады бы.

— Ничего, ничего, — говорит она, — сейчас я вас покормлю.

— А Карпов-то к Маше полез, — говорит Сашка, — и старшину взял на побегушках быть.

Мы сидим за столом. Вика тоже сидит и смотрит на нас большими глазами. А ее мама ставит на стол сковороду. А на

сковороде дымится пирог. Черт знает что! Как она похожа на мою маму…

— Здесь госпиталь останавливался, — говорит она, — подарили мне бутылочку спирту. Выпейте, мальчики, погрейтесь.

У нее большие синяки под глазами. Мы не отказываемся от спирта. Я выпиваю свою рюмку и чувствую, что задыхаюсь. Сижу с открытым ртом. Она смеется:

— Нужно было выдохнуть воздух перед глотком. Я совсем забыла предупредить вас. Заедайте пирогом.

Я ем пирог. Как она все-таки похожа на мою маму. У меня кружится голова.

Кружится у меня голова.

— Это из ваших сухарей сделала, — говорит она.

— Еще тяпнем? — спрашивает Сашка.

— Тяпнем, — говорю я.

Она наливает нам спирту.

— Надо бы и вам, хозяюшка, — говорит Сашка.

Она улыбается и качает головой. А у меня голова кружится, кружится.

— Маме нельзя, — говорит Вика.

— Немножечко, — просит Сашка.

— Маме нельзя, — говорю я, — чего привязался?

Она гладит меня по голове и подкладывает мне пирог. Кружится моя голова. Жарко стало. Сашка отодвинулся куда-то далеко. И Вика отодвинулась. И мама… «Это чтобы мне не так жарко было…

— Вы здешняя? — спрашивает Сашка.

— Мы из Ленинграда, — говорит Вика.

— Как приятно, — говорю я, — а я из Москвы. Какое совпадение… Какая встреча… Где-то у черта на куличках… Я очень рад, очень рад… Если поедете в Ленинград через Москву, позвоните, пожалуйста, ко мне домой…

Сашка ест пирог. Пока он ест, я немного посплю. Положу голову на стол и посплю.

— Погоди, — говорит Сашка, — я тебя доведу.

Он кладет меня на расстеленную шинель.

— Я устал что-то, — говорю я.

— Спи, мальчик, спи, — говорит мама. Она стоит надо мной.

— Мама, — говорю я, — я жив-здоров. Скоро вернусь… С победой…

…Утром в комнате тишина. На Сашкином месте спит водитель. В доме никого нет. Надеваю шинель. Бегу к машине. Вокруг нее ходит с автоматом на груди Сашка.

— А я? — спрашиваю я. — Что же ты меня-то не разбудил?

— А ты спал — не добудишься, — говорит Сашка, — ты зашиб вчера. Тебя разморило.

— А ты так и ходишь? Один?

— А я выспался, — говорит Сашка. — Ну, походи немного, я погреюсь схожу.

Я — подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я скотина. Проучить меня нужно. Я — предатель. Хоть бы кто-нибудь полез сейчас в машину, я его перерезал бы очередью. Из дому выходит старшина:

— Ну как, ежик, все в порядке?

Я ничего не отвечаю. А ему и не нужно это. Он забирается в кузов, зевает во весь рот:

— Иди зови ребят. Ехать надо.

— …Погодите немного, — говорит нам мама Вики, — сейчас пирог из картофеля готов будет.

— Спасибо, нам пора, — говорю я.

— Вы пирог за наше здоровье съешьте с дочкой, — говорит Сашка.

Мы идем к машине. Маша сидит в кузове. Она улыбается нам.

— Выяснили точно. Еще тридцать километров до базы, — говорит водитель.

— Это потрясающе! — говорит Маша.

— Все сели? — высовывается из кабины Карпов.

И вдруг я вижу: бежит от дома через дорогу Вика. Она протягивает сверток. Я на ходу успеваю взять его.

— Это пирог! — кричит она. — До свиданья!

Мы долго машем ей руками.

— Как спалось? — спрашивает Сашка у Маши.

— Мы с хозяйкой — отлично, — смеется она, — а вот товарищ младший лейтенант не спал, кажется.

— Они спали, — говорит старшина.

— Ну, значит, вы не спали, — смеется Маша, — кто-то три раза за ночь будил нас, в дверь стучал: «Маша, мне надо с вами поговорить!»

— Я не стучал, — говорит старшина.

И опять Нина

Карпов выходит из штаба дивизии. Мы смотрим на него.

— Пополнение уже ушло к нам, — говорит он. — Мы разминулись. Ждать не стали.

— Вот и хорошо, — говорит старшина, — забот меньше.

— Будем американский бронетранспортер получать, —

говорит Карпов, — тоже штучка ничего себе. Берите, старшина, сапоги на складе, грузите полуторку и отправляйтесь. Мы в бронетранспортере.

Сапоги! Вот они когда. Настоящие сапоги. Вот теперь-то только и начнется по-настоящему. Сапоги… А то ведь, как обозник, в обмотках хожу. Даже стыдно. Автомат и обмотки. Ну, уж теперь повоюем!

Карпов уходит по всяким отделам.

— В сапоги можно навертеть тряпок до черта, — говорит Сашка, — никакой мороз не прошибет.

— И не промокнут, — говорю я.

— Хорошо, — говорит Сашка, — тавотом подмазал и гуляй.

— И ложку можно за голенище заткнуть, — говорю я.

— Обуваться-то — одно удовольствие, — говорит Сашка, — потянул, и готово.

— Надо за ушки тянуть, — говорю я.

— Конечно, за ушки, — говорит Сашка. Он уходит знакомых поискать. Земляков. А я тоже похожу. Посмотрю, как тут люди живут.

Идет война. Идет она себе без передышки. Делает свои дела. Ни на кого не смотрит. Идет война. Ржавеет мой автомат. Ни разу я не выстрелил из него.

— Ты откуда взялся, господи?! — слышу я за спиной.

Это Нина! Она в гимнастерке. Пустой котелок в ее руке. Это же Нина…

— В гости приехал?

— Тебя искал, — говорю я, — с тех пор все ищу.

Она смеется. Она рада. Я вижу.

— Ах ты, мой дорогой… Вот дружок настоящий. Не забыл, значит?

Ей холодно стоять. Мороз ведь и ветер.

— Пойдем-ка поедим. Поговорим, что да как, да? Она тянет меня за руку. Я иду за ней. Иду за ней. Мы сидим с ней в штабной столовой. В бараке. Никого нет.

— Все уже обедали, — говорит она, — это я опоздала. Сейчас выпросим у Феди порцию.

— Федя, — говорит она в окошечко повару, — дай, Федя, супу. Ко мне дружок с передовой приехал…

И Федя наливает полную миску супу для меня. А Нина отламывает кусок хлеба от своего.

— С миру по нитке?.. — спрашивает в окошечко черный усатый Федя.

— Здесь тепло, — говорю я.

— Ну как там у вас? — спрашивает она. — Коля как

поживает?

— Нина, — говорю я, — а ведь я и в самом деле тебя искал. Думал, думал о тебе… Что же ты молчала?

— А мы сейчас поедим с тобой, а потом покурим, да?

— Что же ты молчала?

— Не пошла бы я обедать, наверное, и не встретились бы.

— Вот теперь я вижу, какие у тебя глаза. Зеленые. А то вспоминаю, а вспомнить не могу. Какие они? Какие? А тут понял наконец.

— Ты ешь, ешь. Остынет. Трудно там у вас?

— Знаешь, я даже представил однажды, как мы с тобой после войны встретились. На тебе — розовая жакетка, а шапки никакой…

— Совсем никакой?

— Мы идем по Арбату…

— Да ты ешь. Холодный, наверное, суп, да?

— Мне ведь скоро уезжать. Обратно. Хочешь, я тебе письмо напишу?

— А я тут девчонкам рассказывала. Там, говорю, у меня дружок есть. Черноглазенький. На всю войну — один. А они мне не верили. Смеялись. А ты ведь помнил меня, да?

— Почему же один? Других у тебя нету?

— А другим-то ведь другое нужно…

Черноусый Федя внимательно смотрит на меня. Чего он смотрит? Может быть, жалеет, что супу дал? Может быть, он тот самый «другой»?..

— Послушай, да я ведь это всерьез. Я ведь думал о тебе. Я никогда ни о ком так не думал, как о тебе.

— Ну вот и ты тоже. — Губы у нее кривятся. — Как хорошо-то было…

А на самом краешке миски, словно червячок, одиноко повисла лапша. Белая, печальная такая. А Нина подперла щеку кулачком и смотрит мимо меня. А в зеленых ее глазах я вижу окно барака. А за ним — зеленые сумерки настают.

— А здесь даже выстрелов не слышно, — говорит Нина, — только раз бомбили.

— Послушай, Нина, — говорю я, — ну, хочешь, я буду письма тебе писать? Просто так. Как мы там живем… А то ведь пропадешь ты. Где тебя искать-то потом?

Дурочка она какая! Неужели она не понимает? Что я, соблазнитель какой-нибудь, что ли?.. Война. Это ведь не Женя. Там все казалось, казалось. А это ведь настоящее. Неужели она не видит? Я теперь понимаю все. Вот дурочка…

— Что ж ты думаешь, я — как другие? Хочешь, докажу?

Хочешь, при тебе сейчас домой напишу про все. Сама отправишь…

Черноусый Федя все смотрит на меня. Делать ему нечего, что ли?

— Вот и опять у нас с тобой свидание… да?

— И когда война кончится, мы поедем вместе…

— Прямо посередке войны у нас с тобой свидание. Вот только мороженым не торгуют. Федя, — говорит она, — нет ли у тебя мороженого?

— Для вас, Ниночка, все есть, — говорит Федя, — только оно у нас горячее. В виде кипяточка.

— Я когда до войны гулять ходила, всегда мне кавалеры мороженое покупали. А один был такой — не купил. Я его быстренько разогнала… А у нас в городе парк был…

— Нина, скоро мне ехать.

— Жалко мне тебя, — говорит она, — тебе не воевать надо. Много ты навоюешь, а? Только не сердись, не сердись. Это я ведь не к тому, что не можешь. Просто зачем это тебе, да?

— А тебе?

— А мне уж и подавно. Вот Федя в ресторане работал. Ресторан «Поплавок». Да, Федя? Отбивные готовил. Салаты…

— Мне ведь уезжать, — говорю я, — ты скажи, напишешь мне? Мне ведь легче жить будет.

— Напишу, — говорит она, — напишу.

Мы идем к выходу. Позвякивает ложка в котелке.

— Послушай, Нина, а тот майор, он что…

— Тот?

— Да, тот…

— О, ты его заприметил.

Мы снова останавливаемся у самой двери. Она стоит рядом со мной. Совсем рядом.

Какая она все-таки маленькая, хрупкая, тоненькая. Какая она беззащитная. Я возьму ее за плечи, за круглые ее плечи… Я поглажу ее голову ладонью. Пусть она не объясняет. Я не хотел спрашивать, не хотел…

— Ты что, жалеешь меня, да?

— Нет, только и ты меня не жалей, Нина.

— А что ж ты дальше-то делать будешь?

— Буду ждать писем твоих.

— А если не дождешься? Всякое ведь бывает…

— Дождусь. Ты ведь обещала.

— Зачем тебе это, глупый?..

Глупый я, глупый. Что-то я не так сказал. Не о том говорил.

— Вот у тебя крошка хлебная на щеке, — говорю я.

Она смеется. Смахивает крошку.

— Пора идти нам с тобой. Хватятся тебя.

— Пусть хватятся, — говорю я. — Пусть хватятся. Семь бед — один ответ.

— Смелый ты у меня какой, — смеется она. И проводит ладонью по моей голове.

Мы выходим в тамбур. Я касаюсь ее плеча. Она отводит мою руку. Очень ласково отводит.

— Не надо, — говорит она, — так лучше.

И целует меня в лоб. И бежит в начавшуюся метель.

…У штаба дивизии стоит бронетранспортер. Сашка ходит вокруг. Разглядывает.

— Сейчас поедем, — говорит он.

Потеха

Бронетранспортер — очень удобная машина. Он словно серый жук. Он всюду пройдет, отовсюду вылезет. В нем уютно. Тепло. Печка электрическая работает. Можно даже поспать на ходу.

Я не сплю. Я подремываю. Что будет к вечеру, когда мы догоним свою батарею?

Может быть, будет тяжелый бой? Может быть, никого мы уже не застанем… Вот приедем на место, буду ждать писем от Нины… А Сашка спит. По-настоящему. А Карпов сидит рядом с водителем и не то спит, не то просто уставился неподвижно в разбитую дорогу.

…А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?..

— Товарищ младший лейтенант, — говорю я, — если бы дорога хорошая была, вот бы мы мчались, наверное.

Но Карпов не отвечает. Спит, видно, Карпов.

— Федосьев, — говорю я водителю, — а хорошая теперь у нас машина.

— А я не Федосьев, — говорит он, — я Федосеев. Федосеев я. Все меня путают. И Федоскиным называют, и по-всякому. А я Федосеев. На войне-то разве разберешься: Федосеев или Федосьев? Некогда разбираться. Было раз, Федишкиным назвали. Потеха ведь. А я Федосеев. Сорок лет уже Федосеев. Как говорится, с самого первого дня младенчества.

Мы везем бочку вина. Это на всю батарею. Это фронтовая норма.

— А винцом-то попахивает, — говорит Федосеев.

У него оттопыренные розовые губы, белые брови, зубы редкие, крупные. Он говорит нараспев.

Он, наверное, никогда не выходит из себя. С ним уютно, надежно.

— А винцом-то попахивает, — говорит он.

Бочка большая. Отверстие заткнуто деревянной пробкой. Прочно. Не выбить. Да если и выбить, все равно: как до вина дотянуться? А на батарее сейчас принимают пополнение. Новички. Юные ребята, наверно. Стоят, озираются. Потеха. Школяры.

Коля Гринченко вышагивает, наверное, перед ними. Фасонит. А Шонгин, наверное, покуривает и говорит Коле: «Болтать ты горазд, Гринченко…» А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?

— А если газу прибавить, — спрашиваю я, — что получится, а, Федосеев?

— Получится прибавление скорости, — говорит Федосеев, — скорость увеличится. Это если газу прибавить. Только здесь нельзя. Дорога плохая. Трясти будет, если газу прибавить…

— Ну и пусть трясет.

— А зачем нам?

— А интересно ведь, когда трясет…

— Машину-то жалко. И люди спят. Пусть поспят. Это мы с тобой не спим. А они спят. И пусть.

А если я без сапог останусь? Меня не жалко? Гнал бы ты, Федосеев, покрепче. Может, успеем еще.

— А винцом-то попахивает, — говорит Федосеев.

А ведь действительно вином пахнет. Ароматный дух идет от бочки. И есть хочется.

Только вина нам не пить. Оно — в бочке. И пробка величиной с кулак.

— А пробку можно вытащить, — говорит Сашка на ухо мне.

— Вдруг Карпов услышит? Он нам даст…

— Конечно, можно, — говорит Карпов, не поворачивая головы.

— Это только прикажите — пара пустяков, — говорит Федосеев.

Мы съезжаем с дороги и останавливаемся у одинокого столба. Мы вытаскиваем пробку. Легко. Она как по маслу вылезает из своего гнезда. И сквозь морозный воздух пробивается облачко винного дурмана. Все сильней и сильней.

— Каждый пробует свою норму, — говорит Карпов, — не больше.

— Закусить бы, — говорит Сашка.

— Закусывать на батарее будем, — говорит Карпов.

Федосеев делает очень просто. Он берет резиновый шланг,

которым бензин переливают, и опускает один конец в бочку.

— Котелочки подставляйте, — смеется Сашка, — чтобы не пролилось.

Золотое вино льется в подставленный котелок. Сашка прикладывается. Мы смотрим на него.

— Бензином воняет, — говорит он.

— Это ничего, — говорит Карпов и сплевывает. Он отпивает несколько глотков.

— Чистый бензин, — говорит Федосеев, — шланг ведь. Ну-ка я попробую…

Мы распиваем пробу. Вино крепкое. Это чувствуется сразу.

— Нужно не дышать, когда пьешь, — говорит Сашка.

— Бензинный дух — это самое полезное, — говорит Федосеев. — Никаких болезней не будет. Это привыкнуть надо. Я-то вот ничего. Мне не противно. Привычка. Ну-ка дай-ка котелочек-то…

— Ну, теперь давайте по норме отливайте, и все, — говорит Карпов.

— А какая норма? — спрашиваю я.

Никто не может объяснить, какая норма.

— Пока пьется, — говорю я.

— Но-но, — говорит Карпов, — это что еще за штучки! Я уже знаю, как будет. Выпью, и теплое, как огонь, пойдет по телу. Станет жарко, томно, странно.

— Ты не пей много, Федосеев, — говорит Карпов, — тебе машину вести.

— Водичка, — говорит Федосеев. — Я этого добра могу два литра, и ни в одном глазу. Водичка.

— Да, — говорит Сашка, — это тебе, брат, не водичка. Водичка.

Я уже не могу пить. В котелке еще много, а я уже не могу. Губы у меня почему-то стянуло. Трудно рот раскрыть. А у Сашки весь подбородок в вине. Он только успевает передохнуть — и снова к котелку. А Карпов хватается рукой за бронетранспортер.

— Черт, от голода уже сил нет никаких, — говорит он.

— Пора бы ехать, — говорит Федосеев и лезет в кабину.

— Нашел место, где остановиться, — говорит Карпов, — на самых буграх. Ногу поставить некуда. Вот там поровнее место-то.

— А ты здорово ухлестнул, — говорит Сашка Карпову.

— Я еще не так могу. Я чистый спирт могу, — говорит Карпов.

— А тебя как зовут? — спрашивает Сашка.

— Меня Алексеем зовут, — говорит Карпов.

Щеки у него красные-красные. И у Сашки тоже. Они как два

брата.

Мы залезаем в машину.

— Тебе дать еще, Алеша? — спрашивает Сашка.

Карпов мотает головой. Сашка сосет шланг. Вино льется в котелок.

— Ну-ка попей, — тычет Сашка котелок Карпову, — попей, Алеша, водичку…

Руки у Сашки короткие, словно два обрубка, а вместо головы винная бочка. Вот это голова!

— А куда же ты пробку-то воткнешь? — смеюсь я. — В рот, что ли?

А Сашка качает своей бочкой и молчит.

— А где шланг? — спрашивает Федосеев.

— В бочке, — говорит Сашка.

— Купается, — смеюсь я.

— Купается? — спрашивает Карпов. — Я и не видел.

— Эх ты, Алеша, — смеюсь я.

Он хороший, этот Карпов, зря я на него обижался. Вон у него губы какие обиженные-обиженные. Я щекочу его шею.

— Эй, Алеша, — говорю я, — не грусти.

Сашка положил голову на бочку и спит. Пусть поспит. Он тоже хороший. Все хорошо. Вот когда мне сапоги дадут, я еще не так воевать буду.

— Сашка, — говорю я, — заткни бочку, противно. А Сашка плачет. Большие слезы текут по щекам. Как у ребенка.

— Куда я еду? — всхлипывает он. — Надо мне больно ехать с вами! Меня Клава ждет… Где ты там, Клава?

Как противно пахнет. Смесь вина и бензина. А если смешать духи с персиками? Все равно противно. А если розы — с гуталином?.. Вот если тихонечко ныть, тихонечко-тихонечко, по-комариному, тогда легче.

— Тебе что, плохо, парень? — спрашивает Федосеев. А мне не плохо. Только запах противный. И ноги не протянешь. Тесно.

— Приходи ко мне, — говорит Карпов, — я тебе покажу мою собаку.

— Куда приходить?

— Улица Волжская, дом восемь.

— Потеха, — говорит Федосеев.

А Сашка плачет крупными слезами. Он вспоминает свою Клаву. И утирает слезы ладонями. А мне не хочется плакать. Зачем плакать?.. А у Сашки опять вместо головы бочка. Она кружится, эта бочка, нет спасенья.

— Из-за фрицев этих ты меня, Клавочка, позабудешь… Купи мне пачку «Норда» на память… Простимся у порога, Клавочка,

купи себе платок пестрый, — слышится из бочки, — а придешь — еще денег дам…

А я не плачу. Я лучше поною. Так дышать легче. Потому что этот запах проклятый… прости меня, Нина. Тоненькая, маленькая, вся странная… неизвестная… прости меня.

— Куда мы? — спрашивает Карпов.

— На батарею, — говорит Федосеев. — Вон они уже летят, летят.

— Пьян ты, что ли, Федосеев?.. Кто это летит?.. Это ракеты, что ли? Ты на передовую меня везешь.

— Она самая. Вон она, рядышком.

— А на что мне она, Федосеев? Мне там делать нечего. Заворачивай ко мне на чашку чаю…

Я бы тоже чаю попил. А то этот запах проклятый…

…Открываю глаза. Стоит наш бронетранспортер. Впереди выстрелы отчетливо уже слышатся. В голове туман. Сашка спит. Карпов спит. Откинул голову, открыл рот.

Мы вино пили. Противно даже.

— Что это мы стоим?

— Прибыли. А батареи нет. Никого нет, — говорит Федосеев. — Ушел фронт.

Надо догонять… А ты хорош был. Как оно тебя, а?

Машина идет вперед. Фары погашены. Снег идет крупный-крупный. От него светло кругом. Призрачно светло. Как во сне. Я вижу сон. Или я пьян еще? Идет наступление, а мы напились. Это пьяный бред — там впереди белая фигура. Она стоит на нашем пути. Она подняла руки. В одной — автомат, в другой — фонарь «летучая мышь». Желтый огонек ничего не освещает.

— Стой, Федосеев, — говорю я.

Машина останавливается. Карпов проснулся.

Он смотрит на фигуру. Он руку тянет к кобуре.

— Это же свои, — говорит Федосеев, — узнаем-ка, что там такое.

А вдруг это немцы? Где мой автомат? Нету моего автомата. Он где-то там, под бочкой. Под винной бочкой. А фигура приближается, приближается. Федосеев распахивает дверцы.

— Ребятки! — кричит фигура. — Ребятки, помогите нам по-быстрому. Тут дружков наших побило. Зарыть надо…

Фигура приближается к машине. Это солдат. Он весь в снегу. Пола шинели оторвана.

— Чем побило? — спрашивает Карпов и зевает. Он зевает, словно с печки слез. Он зевает, когда там убитые лежат! Он пьян, этот Карпов.

— Пулями побило! — говорю я.

— Не суйтесь не в свое дело, — говорит Карпов. — Где убитые?

Солдат машет фонарем.

— Тама, тама, — говорит он, — все… семеро. А нас двое живых-то. Помогите, ребятки.

— Там бой идет, — говорит Карпов, — как же мы можем на батарею опоздать?

— И так опоздали, — говорит Федосеев.

— Пить не надо было, — говорю я и удивляюсь, как я смело говорю.

А Карпов смотрит на меня и молчит. Он ничего не говорит, потому что нечего ему сказать.

— Напились все как свиньи. А тут бой идет, — громко говорю я. — Пошли, Федосеев?

Мы вылезаем из машины. Карпов тоже. Молча. Потом — заспанный Сашка. Мы берем лопаты, ломик и идем за солдатом.

— Такое было, такое было, — говорит он на ходу, — с первого дня такого не было. Шесть часов друг дружку молотили. Потом только вперед пошли.

Мы идем по снежным буграм. Нет, не сон это. Там впереди страшный бой продолжается. Мне слышно хорошо. Вот, Ниночка, твой вояка и отличился. А под невысоким холмом долбит замерзшую землю одинокий солдат. А тот, что с нами шел, говорит:

— Вот, Егоров, подмогу я привел. Сейчас мы быстро, Егоров. Ты давай, давай долби ее. Сейчас мы все возьмемся.

А чуть в стороне лежат тела убитых. Их снегом запорошило. Шинели белые, лица белые. Семь белых людей лежат и молчат. Какой же это сон? Это убитые. Наши. А мы вино пили.

— Ничего себе — командир, — говорю я Сашке, — сам напился и нам позволил.

— Молчи ты… — говорит Сашка.

— Берись-ка за лопаты, — говорит Карпов.

— Всем надо браться, — усмехаюсь я.

Сашка и Федосеев смотрят на меня.

— А я тоже берусь, — спокойно говорит Карпов. — Вот и у меня лопата есть.

А семеро лежат неподвижно, как будто их это не касается. Мы роем молча. Час или два. Земля поддается с трудом. Но она поддается. Сейчас мы будем хоронить убитых. Как я на них посмотрю?

— Да погаси ты фонарь, — говорит Карпов.

Егоров гасит фонарь. Но ничего не меняется. Он ведь почти и не светил совсем. И что это Карпову вздумалось фонарь гасить?

Яма получилась глубокая. И вот тот, первый, солдат лезет в нее.

— Ну, давай, Егоров, — говорит он. И я понимаю, что это значит. А Егоров делает нам знак, и мы идем за ним. Неужели мне сейчас брать мертвых руками и тащить их к могиле? Сашка и Егоров берут первого. Несут. Федосеев нагибается ко второму. Карпов смотрит на меня. А почему бы мне и не взять? Возьму за ноги.

Это ведь не голова. Я должен взять. Именно я. Не Карпов, а я. Я беру убитого за ноги. Мы несем.

— Осторожно, ребятки, — говорит из ямы первый солдат, — не уроните.

— Никак Леня, — говорит Егоров, проходя мимо.

— Это наш Леня, — говорит первый солдат, — давайте его сюда.

Он принимает у нас тело Лени и бережно укладывает его.

Потом мы приносим еще одного, еще одного.

— Салтыкова сверху. Он молодой был, — говорит первый солдат, — ему лежать легче будет.

— А ты помолчать не можешь? — спрашивает Карпов.

— А им ведь не обидно это, товарищ младший лейтенант, — говорит солдат, — а помолчать я могу, конечно.

Мы укладываем всех. Аккуратно. Они лежат в шинелях. Они лежат в сапогах. У всех новые сапоги. Мы молча орудуем лопатами. Мы делаем все, что нужно. Все, что нужно. Вот уже и сапоги скрылись под слоем земли. И на холмике лежит каска. А чья — неизвестно.

…Мы снова едем туда. На выстрелы. Мы молчим.

Открытый счет

…А кто считал, сколько раз мы уже позицию меняем? Кто считал? А сколько я поросят передал заряжающему нашему Сашке Золотареву? А как у меня руки болят…

Мы ведь не просто позицию меняем: лишь бы переменить. Мы вперед идем. Моздок уже за спиной где-то. Давай, давай! Теперь-то я уже наверняка ложку достану.

Хорошую, новенькую ложку буду иметь. А вот бой кончится, выдаст старшина мне сапоги… Это когда кончится. А когда он кончится?.. Все кланяется Коля Гринченко. Он припадает к прицелу. Выгибается весь. Он ведь длинный.

— Взво-о-од!.. — кричит Карпов. Он взмахивает веточкой. Он стоит бледный такой. — Огонь!

Сашка Золотарев сбросил с себя шинель. Ватник распахнул.

Губы белые. Он только закидывает мины в ствол, только закидывает. И ахает каждый раз. И миномет ахает.

Сквозь залпы и крики слышно, как в немецком расположении начинает похрюкивать «ванюша». И где-то за батареей нашей ложатся его страшные мины.

— Как бы не накрыл, — говорит Шонгин. Он даже кричит: — Накроет, и все тогда!

— Отбой! — кричит Карпов.

— Слава богу, — жалобно смеется Сашка, — руки оторвались. Заменить-то нечем.

Приходят из укрытия «ЗИСы». Цепляем минометы. И снова хрюканье «ванюши», и шуршание мин над головой, и визг их где-то за спиной. Пронесло. Опять пронесло.

Как противна беспомощность собственная. Что я, кролик? Почему я должен ждать, когда меня стукнет? Почему ничего от меня не зависит? Стою себе на ровном месте, и вдруг — на тебе… Лучше в пехоту, лучше в пехоту… Там хоть пошел в атаку, а-а-а-а-а!.. И уж кто кого… и никакого страха — вот он, враг. А тут по тебе бьют, а ты крестишься: авось да авось… Вот опять. Похрюкивает «ванюша» все настойчивей, упрямей. Все чаще ложатся мины, все ближе. Истошно кричат наши «ЗИСы», выкарабкиваются из зоны огня… Скорей же, черт!

И снова похрюкиванье. Мирное такое. Раз и еще раз. И вой…

— Ложись!

Шонгин сзади кружится на одном месте.

— Грибы собираете? — кричит Карпов.

— Обмотка…

И он кружится, кружится, ловит свою обмотку, словно котенок с клубком играет.

В бок мне ударяет чем-то. Конец?.. Слышно: бегут. Это ко мне. Нет, мимо. Жив я!

Мамочка моя милая… жив… Снова жив… Я жив… я еще жив… у меня во рту земля, а я жив… Это не меня убили…

Все бегут мимо меня. Встаю. Все цело. Мамочка моя милая… все цело. Там недалеко Шонгин лежит. И Сашка стоит над ним. Он держится рукой за подбородок, а рука у него трясется. Это не Шонгин лежит, это остатки его шинели… Где же Шонгин-то? Ничего не поймешь. Вот его котелок, автомат… ложка! Лучше не смотреть, лучше не смотреть.

— Прямое попадание, — говорит кто-то.

Коля берет меня на плечи. Ведет. И я иду.

— Землю-то выплюнь, — говорит он, — подавишься.

Мы идем к машинам. Они уже трогаются. Возле Шонгина осталось несколько человек.

— Давай, давай, — подсаживает меня Коля.

— Все целы? — спрашивает Карпов.

— Остальные все, — говорит Коля.

…К вечеру въезжаем в какой-то населенный пункт. И останавливаемся. Неужели все? Неужели спать? Подходит кухня. В животе пусто, а есть не хочется.

Мы сидим втроем на каком-то бревне. Я отхлебываю суп прямо из котелка.

— Фрицы сопротивляются, — говорит Сашка.

— Теперь уже пошло, — говорит Коля.

— Теперь наши стали и днем летать, — говорю я.

— А голова-то у тебя цела? — спрашивает Коля.

— У него голова как котел. Все выдержит, — говорит Сашка. Он смеется.

Тихонечко. Про себя.

— Жалко Шонгина, — говорю я.

Мы молча доедаем суп.

— А тебе без ложки-то легче, — говорит Коля, — хлебнул пару раз — и все. А тут пока его зачерпнешь, да пока ко рту поднесешь, да половину прольешь…

— А я тут ложки видел немецкие, — говорит Сашка, — новенькие. Валяются. Надо бы тебе принести их.

И он встает и отправляется искать ложки. Будет и у меня ложка! Правда, немецкая. Да какая разница… Сколько я без ложки прожил! Теперь зато с ложкой буду.

Ложки и в самом деле хорошие. Алюминиевые. Целая связка.

— Они мытые, — говорит Сашка, — фрицы чистоту любят. Выбирай любую.

Ложки лежат в моих руках.

— Они мытые, — говорит Сашка.

Ложек много. Выбирай любую. После еды ее нужно старательно вылизать и сунуть в карман поглубже. А немец тоже ее вылизывал. У него, наверное, были толстые мокрые губы. И когда он вылизывал свою ложку, глаза выпучивал…

— Они мытые, — говорит Сашка.

…А потом совал за голенище. А там портянки пропревшие. И снова он ее в кашу погружал, и снова вылизывал… На одной ложке — засохший комочек пищи.

— Ну, что ж ты? — говорит Коля. Я возвращаю ложки Золотареву. Я не могу ими есть. Я не знаю, почему… Мы сидим и курим.

— «Рама» балуется, — говорит Коля и смотрит вверх.

Над нами летает немецкий корректировщик. В него лениво постреливают наши. Но он высоко. И уже сумерки. Он тоже

изредка постреливает в нас. Еле-еле слышна пулеметная дробь.

— Злится, — говорит Коля, — вчера, небось, по этой улице ногами ходил, летяга фашистский.

А Сашка по одной швыряет ложки. Размахивается и швыряет. И вдруг одна ложка попадает мне в ногу. Как это получилось, понять не могу.

— Больно, — говорю я, — что ты ложки раскидываешь?

— А я не в тебя, — говорит Сашка.

А ноге все больней и больней. Я хочу встать, но левая нога моя не выпрямляется.

— Ты что? — спрашивает Коля.

— Что-то нога не выпрямляется, — говорю я, — больно очень.

Он осматривает ногу.

— Снимай-ка ватные штаны, — приказывает он.

— Что ты, что ты, — говорю я, — зачем это? Меня ж не ранило, не задело даже… — Но мне страшно уже. Где-то там, внутри, под сердцем, что-то противно копошится.

— Снимай, говорю, гад!

Я опускаю стеганые ватные штаны. Левое бедро в крови. В белой кальсонине маленькая черная дырочка, и оттуда ползет кровь… Моя кровь… А боль затухает… только голова кружится. И тошнит немного.

— Это ложкой, да? — испуганно спрашивает Сашка. — Что же это такое?

— «Рама», — говорит Коля, — хорошо, что не в голову.

Ранен!.. Как же это так? Ни боя, ничего. В тишине вечерней. Грудью на дот не бросался. В штыки не ходил. Коля уходит куда-то, приходит, снова уходит. Нога не распрямляется.

— Жилу задело, — говорит Сашка.

— Что ж никто не идет? — спрашиваю я. — Я ведь кровью истеку.

— Ничего, крови хватит. Ты вот прислонись-ка, полежи.

Приходит Коля. Приводит санинструктора. Тот делает укол мне:

— Это чтобы столбняка не было.

Перебинтовывает. Меня кладут на чью-то шинель. Кто-то приходит и уходит. Как-то все уже неинтересно. Я долго лежу. Холода я не чувствую. Я слышу, как Коля кричит:

— Замерзнет человек! Надо в санбат отправлять, а старшина, гад, машину не дает.

Кому это он говорит? А-а, это комбат идет ко мне. Он ничего не говорит. Он смотрит на меня. Может быть, сказать ему, чтобы велел сапоги мне выдать? А впрочем, к чему они мне теперь?.. Подходит полуторка. На ней бочки железные из-под бензина.

— Придется меж бочек устроиться, — слышу я голос комбата.

Какая разница, где устраиваться.

Мне суют в карман какие-то бумаги. Не могу разобрать, кто сует… Какая, впрочем, разница?

— Это документы, — говорит Коля, — в медсанбате сдашь.

Меня кладут в кузов. Пустые бочки, как часовые, стоят вокруг меня.

— Прощай, — говорит Коля, — ехать недолго.

— Прощай, Коля.

— Прощай, — говорит Сашка Золотарев, — увидимся.

— Прощай, — говорю я. — Конечно, увидимся.

И машина уходит. Все. Я сплю, пока мы едем по дороге, по которой я двигался на север. Я сплю. Без сновидений. Мне тепло и мягко. Бочки окружают меня.

Я просыпаюсь на несколько минут, когда меня несут в барак медсанбата.

Укладывают на пол. И я засыпаю снова.

…Это большая, прекрасная комната. И стекла в окнах. И тепло. Топится печь.

Меня тормошит кто-то. Это сестра в белом халате поверх ватника.

— Давай документы, милый, — говорит она, — нужно в санитарный поезд оформлять. В тыл повезут.

Я достаю документы из кармана. Вслед за ними выпадает ложка. Ложка?!

— Ложку-то не потеряй, — говорит сестра.

Ложка?.. Откуда у меня ложка?.. Я подношу ее к глазам. Алюминиевая сточенная ложка, а на черенке ножом выцарапано «Шонгин»… Когда же это я успел ее подобрать? Шонгин, Шонгин… Вот и память о тебе. Ничего не осталось, только ложка. Только ложка. Сколько войн он повидал, а эта последняя. Бывает же когда-нибудь последняя. А жена ничего не знает. Только я знаю… Я упрячу эту ложку поглубже. Буду всегда с собой носить… прости меня, Шонгин, старый солдат…

Сестра возвращает мне бумаги.

— Спи, — говорит она, — спи. Чего губы-то дрожат? Теперь уже не страшно.

Теперь уже не страшно. Что уж теперь? Теперь мне ничего не нужно. Даже сапоги не нужны. Теперь я совсем один. Вдруг Коля войдет и скажет: «Теперь наступление. Теперь лафа, ребята. Теперь будем коньячок попивать…» Или вдруг войдет Сашка Золотарев: «Руки у меня отваливаются от работы, а заменить нечем…» А Шонгин скажет: «Э-э, болтать вы горазды. Паскуды вы, ребята…» А Шонгин теперь ничего не скажет. Ничего. Какой же я

солдат, даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видал. Какой же я солдат? Ни одного ордена у меня, ни медали даже… А рядом со мной лежат другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти все прошли. Все повидали.

В барак вносят новых раненых. Одного кладут рядом со мной. Он смотрит на меня.

Бинт у него соскочил со лба. Он его накладывает снова. Матерится.

— Сейчас, сейчас, милый, — говорит сестра.

— А мне и без вас тошно, — говорит он. И смотрит на меня. Глаза у него большие, злые. — Из минометной? — спрашивает он.

— Да, — говорю я. — Знакомый? Знаешь наших-то?

— Знаю, знаю, — говорит он, — всех знаю.

— Тебя когда это?

— Утром. Вот сейчас. Когда же еще?

— А Коля Гринченко…

— И Колю твоего тоже.

— И Сашку?

— И Сашку тоже. Всех. Подчистую. Один я остался.

— И комбата?..

Он кричит на меня:

— Всех, говорю! Всех! Всех…

И я кричу:

— Врешь ты все!

— Врет он, — говорит кто-то, — ты его глаз не видишь, что ли?

— Ты его не слушай, — говорит сестра, — он ведь не в себе.

— Болтать он горазд, — говорю я, — наши вперед идут.

И мне хочется плакать. И не потому, что он сказал вдруг такое. А потому, что можно плакать, и не от горя… Плачь, плачь… У тебя неопасная рана, школяр.

Тебе еще многое пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок…

Отдельные неудачи среди сплошных удач

Нечаянная радость

Вспоминаю, как провожал маму в 1949 году.

Да, провожал. Так уж случилось. В 47-м встречал из лагеря, а тут провожал. Тогда многих провожали, и не на день, и не на два, а на долгие сроки.

После всего, что было, ее арестовали снова. Мы узнали об этом в одну из отвратительных ночей, когда в наш дом ввалился человек, у которого в Кировакане мама снимала угол. Он приехал около шести часов поздним поездом, чтобы рассказать нам об этом, о последнем ее прости… Впрочем, он мог бы и не приезжать. Все равно я забыл его имя. Добрые дела не запоминаются. И чего было приезжать, когда ее уже забрали? Написал бы письмо, записочку бы передал со случайной оказией. Мог бы и не беспокоиться. Что тут поделаешь?

Он сидел на кухне, сыпал пепел на пол, на брюки, тяжело вздыхал. Тетя Сильвия плакала негромко, почти шепотом. Лампочка почему-то источала желтый свет. Погода за окном была мерзейшая. Все как-то сошлось, совпало, а человек должен был выдержать, не распасться от тоски и ужаса беспомощности… Ну, мы и держались, как могли, и еще гадали: это что — чесеир? Или каордэ? То есть «член семьи изменника родины» или «контрреволюционная деятельность»…

Когда она вернулась в 1947 году после десяти лет лагерей, не было ни реабилитации, ни даже помилования, просто отбыла свой срок и вернулась. В столичных и больших городах жить ей не разрешалось, и тетя Сильвия с большим трудом устроила ее в Кировакане кассиршей в какой-то артели. А мы жили в Тбилиси, и я был студентом университета. К тому времени я уже кое-что начал понимать, какой-то робкий анализ событий совершался в моей затуманенной голове, и возникали горькие вопросы: «За что?», «Почему?», «Ради чего?»…

Тетя Сильвия была постоянно настороже: такое уж было время. Она заглядывала в мои глаза, вслушивалась в мои интонации, они ее тревожили. И она, как бы отвечая на мои немые вопросы, время от времени восклицала:

— Какая мама все-таки счастливая! Не правда ли? Вот вернулась, жива-здорова. И мы снова вместе, — и вглядывалась в меня очень пристально.

— Ну конечно, — говорил я бодро, чтобы не волновать тетю Сильвию. Теперь все хорошо. Мама живет как все, работает, пишет письма, можно к ней съездить…

Но тетю Сильвию мои слова не успокаивали. Что-то ей в них

чудилось опасное.

Она подхватывала мои бодрые слова тем решительнее, чем они были бодрее, и говорила громче обычного:

— А что? Разве не так? Как она мучилась в лагере, арестантка! А теперь свободная женщина, даже деньги тебе присылает… Разве не так?..

Или восклицала:

— Что бы мы делали без Сталина? Как бы жили? — и внимательно вглядывалась в меня.

— Так бы и жили, — срывалось у меня, — а может, и не хуже.

— А война? — еще повышала она голос. — Какую войну вынесли! Ты разве этого не понимаешь? Ты что, все забыл?..

— Не забыл, — говорил я, чтобы не волновать ее.

— Карточки отменили…

Карточки продуктовые действительно были отменены.

— Цены понизили…

И цены медленно двигались к довоенным…

— …и вот мама на свободе!

— Ну конечно, конечно, — сдавался я. — Разве я спорю?

— Ну вот, — успокаивалась она, — а то брякнешь где-нибудь такое, — и растерянно улыбалась.

И вот мама трудилась кассиршей и как-то умудрялась выкраивать мне маленькие суммы из своей зарплаты. Мы переписывались. Все как будто снова вставало на свои места, и не было смысла роптать, и стоило преклониться перед яростной мудростью тети Сильвии. Мы быстро привыкали к печалям и все умели объяснять, и, если случался маленький, пусть даже совсем ничтожный праздник, даже не праздник, а легкое послабление, раздували его до несусветных размеров, радуясь и ликуя.

Так вот и ликовали, когда она вернулась, когда удалось устроить ее в артель, когда повезло ей снять угол в домике на окраине — у хозяина, не испугавшегося появления в его мирном, благополучном доме этой пропыленной, прожаренной в карагандинских просторах женщины с потускневшими зрачками. Да, радовались. Вот ведь как устроен человек! Понапрасну не восклицали, не задавали проклятых вопросов: «За что?», «Почему?», «Во имя чего?». Так, будто бы все было уже известно, все было всем ясно и не хотелось омрачать праздник.

Правда, иногда эти вопросы все же вырывались наружу. Мы, конечно, произносили их шепотом, как бы между прочим, как бы не придавая им значения, и отвечали на них суетливо, полунамеками, в которых сами лишь и могли разобраться. Но иногда шепот надоедал. Тогда тетя Сильвия говорила:

— А что делать, мой дорогой? Если у государства много

врагов, как-то ведь надо защищаться…

Но это не могло относиться к маме, и она тут же говорила:

— Ну, с мамой произошла ошибка, конечно, — и всматривалась в меня. — Когда-нибудь, мой дорогой, все это выяснится.

— Я не сомневаюсь, — отвечал я с грустью. Она кусала губы и вдохновенно произносила:

— Если бы ты был на их месте… — и кивала на потолок.

«Их место» мне не грозило: я твердо был на своем.

И теперь ее арестовали снова. Пришли, как всегда, ночью. Перерыли комнату, угол, который она снимала.

— Нашли что-нибудь? — усмехнулся я.

— Эээ, ничего не нашли, — сказал ее хозяин, снова роняя пепел.

— Если ничего, значит, все в порядке, — сказал я.

— А что могли найти?! — вскричала тетя Сильвия. — Что у нее было, кроме старого белья?

— Ничего не было, — подтвердил хозяин. — Я сидел рядом, а она собиралась. Они искали. Перерыли ее постель, чемодан, а что могли найти?

— Она плакала? — спросил я шепотом.

— Почему она должна была плакать? — крикнула тетя Сильвия. — Что она, виноватая?

— Нет, не плакала, — сказал он, — извинялась передо мной, бедная. А что я? Как будто я не понимаю. Я все понимаю.

— У меня большие связи, — сказала тетя Сильвия, утирая слезы, — они еще не представляют, что я могу. — Лицо ее уже пылало вдохновением. Хозяин маминого угла смотрел на нее с изумленной надеждой. — У меня такие связи!.. — сказала она. — Им не поздоровится… — и посмотрела на меня победно.

Он сидел, и кивал, и сыпал пепел. Потом он ушел. Как-то боком выскользнул в дверь. Стояла ночь. Сыпал монотонный дождь. «Что она может сделать?» — подумал я.

— Ты не расстраивайся, не вешай носа, — сказала она, — я свою сестру в обиду не дам… Я им еще покажу!.. Второй раз… неизвестно за что… где… сколько можно!

Я-то знал, что она ничего не может. Не было никаких связей, я знал. Да и кто тогда мог? И все-таки ее горячая убежденность как-то успокаивала. А что, если есть? Есть что-то там, кто-то там, неведомый мне, или, например, жене большого человека одно слово — и все изменится, и мы еще посмеемся… А если нет, думал я, значит, снова тюрьма? И допросы, и лагерь, и унижение, и карагандинские пески…

Я был студентом четвертого курса. Я знал, что меня терпят и

чей-то глаз с небесной поволокой посматривает за мной. Я все время затылком ощущал чье-то упрямое присутствие. Будущее мое было туманно, несмотря на красивые лозунги и возвышенные слова о величии человека… Да, кто-то, может быть, и был велик и прекрасен, но мне лично не улыбалось ничего.

Ах, я ошибся, утверждая, что у нее нет связей, ошибся!

И вот как это произошло.

Она начала куда-то исчезать. Какие-то глухие телефонные переговоры будоражили наш дом. Назначались свидания с кем-то где-то, и казалось, весь город захвачен этим происшествием, и все прохожие поглядывают на меня — кто с осуждением, кто с сочувствием, то подозрительно, то печально. Вдобавок ко всему — поздняя осень с дождями и пронзительным ветром. Где мама? В тюрьме? В вагоне ли с зарешеченными окнами?

На красивом лице тети Сильвии не отражалось ничего, кроме упрямой сосредоточенности. Неотвратимости судьбы она противопоставляла непреклонность, и веру, и женскую хитрость… И телефонную трубку обволакивали лукавство, мольбы, дружеские интонации, и между всем этим не было границ. Все перемешивалось, переливалось одно в другое. Меня захватывала эта таинственная мелодия. Это была школа нашей жизни, способ существования… «Вы же ее знаете…», или «Конечно, конечно, вы правы…», или «Вы мне не верите?..», или «Я понимаю вас, я согласна, но все же, но все же…»

Иногда она тихо плакала, надеясь, что я ничего не вижу, над носком, который она штопала, над нехитрой нашей едой, и я видел: крупные слезы скатывались по белоснежной, по прекрасной ее щеке.

Бывало, она приводила себя в порядок, лихорадочно, торопливо, деловито, придирчиво смотрелась в зеркало, и я видел, как меняется ее облик: то обаятельная улыбка озаряла ее лицо, то суровая непреклонность, а то вдруг просительная гримаса, а то и подобострастный кивок, и царственная невозмутимость, и маска презрения… Видимо, она проигрывала перед зеркалом какие-то разговоры, какие-то с кем-то встречи, от кого хоть что-то могло зависеть в судьбе ее сестры. Я наблюдал эти горькие репетиции, а передо мной струились карагандинские пески, плыла поздняя осень. Был лагерь и колючая проволока, и вышки с часовыми, и мама в сером ватнике возле тачки…

Из утешительных слов тети Сильвии явствовало, что все это несметное множество людей, изъятых из жизни и осужденных на прозябание в тюрьмах и лагерях, что все они в чем-то виноваты, и только с мамой произошла роковая ошибка, которая вот-вот раскроется, и наступит торжество справедливости. Не очень

убедительно звучало это, но я и это принимал как маленькую надежду.

И вот не знаю, как ей удалось пробиться, разведать, выяснить, определить, но однажды она все-таки воскликнула, входя в дом:

— Мама в Тбилиси!.. Ее привезли сюда. Она в Ортачальской тюрьме!.. Теперь будет легче…

Что будет легче, я так и не понял: то ли будет легче о ней хлопотать, то ли легче будет с нею повидаться. Но повидаться нам с ней не пришлось. Свидания не разрешались, пока не состоится суд, а когда он состоится, никто не знал. Вот и продолжалась эта неукротимая деятельность тети Сильвии в надежде хоть что-нибудь выяснить, разведать, определить. О, какие усилия тратились людьми, чтобы нет, не побороть, а хотя бы несколько смягчить эту неумолимую машину нашей судьбы! Все было пущено в ход: от мелкого интриганства до высочайшего вдохновения. Как это получалось у тети моей, у красивой, неистовой, беспомощной сорокалетней моей тети Сильвии, не мне судить. Это для высших сил. Что я? Я просто был при этом. У меня не было ни опыта, ни сноровки, только постоянная вкрадчивая тоска безысходности, разъедающая душу. Быть может, думал я, я заслужил эту участь чем-нибудь таким, каким-нибудь неловким жестом, неосторожным шагом, непродуманным словом?

Почему, думал я, другим все: и улыбка, и будущее, и всякие праздники все, а мне ничего? Хотя что я знал о других, варясь в своей беде?

Наступила зима, а суда все не было. Гнилая тбилисская зима, гнилые ощущения, дождь и снег, коптящая керосинка, обогревающая комнату, томительные лекции в университете, и мои друзья, напрягшиеся вместе со мною. И всяческие фантазии на ту же тему: уж если снова в лагерь, то хоть не в эту пронзительную непогоду, лучше бы летом, пусть жара, пусть, чем вот это неистовство, из промерзших вагонов в отсыревшие бараки и с тачкой под снег… И мы спрашивали друг у друга шепотом: «Ну что слышно? Решилось?..»

В конце концов все ведь решается, не так ли? Только нужно было набраться терпения. О, мы привыкли терпеть. Терпение стало второй натурой, воздухом, которым мы дышали, и, когда этого воздуха становилось слишком мало для ничтожного вздоха, хотелось кричать и плакать. Как странно двигались мы при этом! Какие произносили несуразности, я помню, покуда однажды самым отвратительным февральским полднем не родились из колдовства тети Сильвии, из заговорщической ее суеты, из ее хождения по краю пропасти долгожданные счастливые выкрики…

Я помню, она крикнула мне в лицо, вернувшись после

очередного поединка, что мы победили, что Бог есть и есть справедливость… А ты говорил, что нет справедливости, ты помнишь? Кто это говорил? Ты утверждал все это, а я верила, что она ни в чем не виновата, потому что она ни в чем не виновата, а ты говорил, что перед нами глухая стена… кто это говорил? А я верила, я знала… Не будет лагеря, не будет! Ни лагеря, ни тюрьмы… не могут невиновную женщину запихать в лагерь… а ты говорил… а я говорила, что не могут…

— И что же?! — крикнул я, боясь верить. — Что же теперь?

Она наконец села в кресло, а до этого все металась по комнате, перебирала на столе какие-то бумажки, маленькая прядь отбилась от ее прекрасной прически, она ее поправляла, но ничего не могла и вдруг успокоилась, уселась и заплакала, как только она умела, бесшумно и страшно. Может быть, это были даже не слезы, а счастливая влага, источаемая душой? Кто знает…

— Вот видишь, — сказала она мне, — как важно вовремя собраться… Я их всех прижала, всех, вот они все у меня где, — и яростно потрясла сжатым кулаком, — они увидели, что она ни в чем не виновата… Какой уж тут лагерь? За что? Они дали ей ссылку, — она пристально глянула на меня, — это значит, что ей определят место, ну там, деревню, поселок какой-нибудь, и там она будет абсолютно свободна, представляешь? Будет жить в нормальном доме, ходить в магазин, в кино! — Она изучала мое лицо, я это видел.

— Какое счастье! — сказал я и попытался улыбнуться. — Сколько же ей там находиться?

— Ну, это не будет продолжаться вечно, — сказала она с обычной своей прозорливостью.

Она теребила мой чубчик. Ссылка называлась вечной, но мы, словно сговорившись, опускали это слово. Вечного ничего не бывает.

— К ней можно будет ездить, говорить по телефону…

— Хоть бы место поприличнее, — сказал я. — Даже не верится, что не будет лагеря.

Она звонила своим знакомым и говорила, что вот какое гуманное решение и вместо ужаса лагерей будет всего лишь ссылка, хотя мы живем в такое сложное время и в таком окружении, но сочли возможным вынести такое решение… бедная ее сестра, она тоже вздохнет после всего, что было, потому что какая у нее была жизнь? Все висело на волоске, никаких прав…

— Видишь ли, — сказала она мне, — такое сложное время. Конечно, мама ни в чем не виновата и могла бы не подвергаться всем этим ужасам, но мы живем в такое сложное время, и они,

конечно, не могут теперь взять ее и выпустить так просто, ты понимаешь?

— Еще бы, — сказал я.

— Главное в том, — сказала она, — что мама ни в чем не виновата. Иначе разве было бы такое мягкое решение?

Казалось, что и погода за окнами помягчела. И я звонил своим друзьям: Зурабу, Володе, Филиппу, и Нате, и Додику Барткулашвили — и всем рассказывал о случившемся, и объяснял, какая разница между лагерем и ссылкой, опуская слово «вечная» как излишество. Важно ведь то, что там она будет свободным человеком. Будет ходить в кино, если захочет, и я смогу на каникулы приезжать к ней.

Но почему-то снова мы не могли добиться с нею свидания, и передач у нас не принимали, и сроки ее отправки сохранялись в глубокой тайне.

— Почему она не может поехать сама по месту своего назначения! — сокрушался я, и слово «назначение» успокаивало: оно было так буднично, не то что ссылка или вечное поселение. И снова жизнь испытывала наше терпение, и снова углублялась пропасть между «мы» и «они». Мы были беспомощны, они таинственны и всесильны.

Однако тетя Сильвия продолжала идти напролом. Щеки ее лихорадочно пунцовели, карие глаза сверкали, непослушная прядка выбивалась из прически. С утра она надевала свои лучшие платья и отправлялась по таинственным адресам. Где уж там она бывала, в какие проникала кабинеты, кого упрашивала, у кого вымаливала — кто знает, но наконец ей и тут пофартило, и она узнала, что завтра отправят маму в арестантском вагоне с московским поездом.

Как странно теперь вспоминать те годы, когда в каждом пассажирском составе был обязательно арестантский вагон — темно-зеленый, с зарешеченными маленькими окнами. Как привычны они были тогда, как равнодушно скользили по ним наши взоры.

Вечером следующего дня, задолго до отхода московского поезда, мы были на вокзале. Дома перед уходом тетя Сильвия уложила в большую сумку вещи, которые, как она считала, могли бы пригодиться маме: старая кофта, теплая юбка, пара туфель, ботинки, пакет сухарей, бутылочка с подсолнечным маслом, и табак, и несколько старых журналов, и носки, и белье, и даже чайник, простой алюминиевый чайник, видавший виды, потерявший блеск, но все еще вполне годный к употреблению.

На вокзале было тихо. Все платформы были пустынны. Состава не было нигде.

Я стоял с сумкой, прислонившись к чугунному столбу, а тетя Сильвия вновь отправилась на разведку, потому что очень важно было установить место, где окажется арестантский вагон. Время шло. Начало вечереть. Дождь прекратился, и только мартовский сырой и колкий ветер бесчинствовал на путях. Вернулась тетя Сильвия — разведчица моей души, — сказала, подбадривая меня, что скоро подадут состав. Мы, конечно, не представляли, как все это будет выглядеть и как мы будем передавать сумку маме.

Грязно-серые сумерки спустились на вокзал. Показался московский состав, он медленно приближался. Трудно было определить, какой из путей он выберет, но тете Сильвии было известно, что наша платформа — именно то место, которое нам нужно. Вот послышался перестук колес. Длинная змея поезда, извиваясь, приближалась, однако в последнюю минуту она изогнулась и поползла по совершенно другому пути, за второй от нас платформой. Мы заметались. Там, прямо за паровозом, и точно просматривался арестантский вагон. Не успел состав остановиться, как пассажиры запрудили платформу. Перебегать через пути было слишком высоко. Мы оказались отрезанными от состава. Поезд, полязгав, остановился, и пассажиры полезли в вагон. Лишь арестантский вагон стоял в одиночестве — к нему никто не спешил. Я поглядел вдоль путей, где-то вдалеке виднелся переход на другую платформу.

— Смотри, смотри, — крикнула тетя Сильвия, — вон мама!

Не понятно, как успела образоваться группка людей у арестантского вагона. Около тридцати женщин с сумками, с чемоданами стояли кружком, а вокруг — плотным кольцом охрана. Среди женщин я разглядел маму в старой лагерной телогрейке, с лагерным же чемоданчиком в руке. Я замахал, она нас увидела. Мы кивали друг другу. Я выставил вперед руку с оттопыренным большим пальцем, и это должно было означать, что у нас все хорошо, пусть она о нас не беспокоится. Арестантки полезли в вагон быстрой ускользающей струйкой. Влились и исчезли, и снова возле арестантского вагона было пусто.

Тетя Сильвия вырвала у меня сумку и побежала к дальнему переходу. Быстро темнело. Машинист вскарабкался по ступенькам на паровоз. Пассажиры заканчивали посадку. Как моя тетя перебегала через пути, я не видел. В вагонах светились окна. Везде. И только в мамином вагоне господствовала темень. Затем состав дернулся и медленно заскользил. Через несколько минут его словно и не было.

Вернулась тетя Сильвия. Она успела добежать до вагона и разыскала начальника охраны. Его фамилия была Еськин. Сержант Еськин сначала и разговаривать не захотел, но все-таки

смилостивился, хотя вещи передать категорически отказался. Она уговаривала его, называла дорогим, родным и плакала, и сунула ему пятьдесят рублей, и тогда он согласился передать, но только чайник.

— Только чайник, — сказал он, — эта вещь в дороге нужная.

Всю обратную дорогу домой мы праздновали удачу.

Теперь прошло много лет. Теперь и вспоминать об этом как-то не так больно. В 1956 году мама вернулась окончательно. Вот тогда мы и узнали, что чайника сержант Еськин так ей и не передал.

За что? Почему? Во имя чего?..

Впрочем, это уже не имеет значения.

Гитарист

Это случилось в пятьдесят девятом году. Я работал в «Литературной газете». У меня уже были первые песенки и первая широкая известность в узком кругу. Это очень вдохновляло меня. Я очень старался понравиться именно им, моим литературным друзьям. Один из них, назовем его Павлом, позвал меня на свой день рождения. Были приглашены и некоторые другие сотрудники из нашего отдела литературы.

Я отправился к Павлу, конечно, вместе с гитарой и со своим ближайшим другом тех лет, начинающим писателем Владимиром Максимовым.

Мы добрались до Плющихи, нашли дом. Нам открыли дверь. Гостей было уже с избытком, и наши уже были здесь.

И вот мы вошли в комнату и начали рассаживаться за уже накрытым столом. Слышался обычный возбужденный галдеж, затем в него вмешался плеск разливаемого в бокалы вина, потом прозвучал тост в честь пунцового именинника… И звон стекла, и кряканье, и вздохи — и вдруг тишина и сосредоточенное поедание праздничных прелестей, и восторженные восклицания, и, в общем, как обычно, удовлетворенное журчание голосов, этакий ручеек, постепенно, от тоста к тосту, превращающийся в мощный поток.

В доме Павла я был впервые, и родственники его были мне незнакомы. Судя по их лицам и разговорам, простые милые люди, в основном из московских работяг. Они и преобладали за столом. А наших было мало, и они, конечно, старались не очень-то «высовываться» и не нарушать господствующего климата своим интеллектуальным вздором. Так, нашептывали друг другу всякие остроты и посмеивались украдкой. Только Володя Максимов был крайне мрачен.

Наконец, когда было достаточно выпито и съедено, отяжелевшие гости потянулись в соседнюю комнату. Мои подмигивали мне многозначительно. Я шел и понимал, что, по уже установившейся традиции, предстоит петь. Меня это в те годы радовало. Я начал привыкать к интересу, который проявляли к моим песням мои друзья. Рядом двигался хмурый Максимов. Пока мы сидели за столом, я, зная о его пристрастии к спиртному, подумал, что наступил этот час и потому он так мрачен. Но оказалось, что он трезв, трезвее меня и всех остальных, и это было непонятно.

В тесной комнате кто сидел, кто стоял. Мне подали гитару. Все замерли. Я чувствовал себя приподнято, хотя, конечно, и

волновался: очень хотел угодить слушателям.

— Что же мне вам спеть? — спросил я, перебирая струны. — Что-то сразу и не соображу…

— Может быть, «Сапоги»? — шепнул кто-то из своих.

Я подумал, что «Песенка о сапогах» — это военное. Это не ко дню рождения… И посмотрел на Максимова. Он был мрачен.

— Ну, «Неистов и упрям…», — подсказали снова.

— Нет, — сказал я, — начну-ка с «Последнего троллейбуса»… Все-таки московская тема…

Я стал перебирать струны. Одна фальшивила. Принялся настраивать. Было тихо. Правда, в соседней комнате звенела посуда: там суетились, приводя стол в порядок.

«Когда мне невмочь пересилить беду…» — запел я. Максимов опустил голову. Выпевая, я подумал, что следующей будет «Песенка о Леньке Королеве». Да-да, подумал я, хоть и военная, но все-таки московская.

Я пел и попутно обмозговывал свой небогатый репертуар. И вот конец: «…и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает…» — и последний аккорд. Кто-то из своих захлопал. И вдруг из дальнего угла крикнули требовательно:

— Веселую давай!.. «Цыганочку»!..

— «Цыганочку»!.. — загудели гости, и кто-то затянул: «Ехал на ярмарку ухарь-купец…».

Я не понимал, что происходит. Стоял, обнимая гитару. Тут ко мне подскочил Максимов, дернул меня за руку и прошипел:

— Пошли отсюда!.. — и повел меня насильно в прихожую. — Давай одевайся! Скорей, скорей!.. Пошли отсюда!..

Мы вышли из квартиры. Ноги у меня были деревянные. Голова гудела.

— Я не хотел тебе говорить, — сказал, кипя, Максимов уже на ночной улице, — когда мы пришли, там, на столике в прихожей, лежал список гостей, и возле твоей фамилии было написано — «гитарист»!

Большая честь

Самое начало шестидесятых. У меня уже некоторая известность. Крутятся магнитофоны. Появляются в газетах бичующие меня фельетоны. Это еще больше усиливает интерес ко мне. Бурное для меня время, очень значительное. Ведь мною интересуется публика, ну, может быть, и не очень широкая, ну и, конечно, интересуются не столько мною, сколько моими песенками, которые они пересказывают друг другу, напевают, находят в них что-то близкое для себя… Большая честь.

И вот однажды звонит мужчина с завода твердых сплавов, где-то в районе Марьиной рощи. Называется председателем профкома. Голос у него какой-то странный, какие-то подозрительные интонации слышатся в его речи. Он долго выспрашивает меня — Окуджава ли я, и пою ли я свои песни… Ах, тот самый?.. И выступаете с ними?.. Ну да… ну конечно… и выступаете… Тогда вам нужно срочно к шести часам быть у нас в профкоме. Тут дело чрезвычайной важности… Тут, понимаете, такая каша заварилась!..

Еду. Ломаю голову: что может быть у меня общего с заводом твердых сплавов?! Какие это твердые сплавы?!

В профкоме множество народу. Все смотрят на меня разинув рты, всплескивают руками, ахают, чертыхаются.

— Здравствуйте, — говорю я, — что это случилось?

И председатель профкома, задыхаясь от волнения, рассказывает мне о происшедшем.

О том, как несколько дней назад явился в профком молодой человек высокого роста, широкоплечий. Льняные волосы украшают голову. Голубые глаза дружелюбно распахнуты. Сдержан. Немногословен. Вы про Окуджаву что-нибудь слыхали? Мы говорим, мол, слыхали, слыхали, ну и что? А я и есть Окуджава, ну, здравствуйте. Тут все наши сбежались, и мы начали сговариваться о его выступлении в нашем клубе. Договорились как раз на сегодня, на семь вечера. Он сказал, что ему нужен аванс в пятьдесят рублей, а остальные, мол, после вечера. Ну, мы дали ему аванс, и он ушел. И тут через полчаса наш бухгалтер возьми и скажи: по-моему, Окуджава вовсе не такой. Он и постарше, и помельче вроде, худенький такой, и усики у него… Что-то тут не так… Началась у нас паника, и вот сегодня мы к началу вызвали опергруппу после разговора с вами. Скоро он явится, представляете? И возьмут его с поличным, а вы будете свидетелем!

Ко мне подходит лейтенант милиции и спрашивает:

— А документики у вас есть?

Предъявляю ему удостоверение. Все в порядке. Он говорит:

— Прошу всех лишних покинуть помещение.

— Публики полон зал, — говорит кто-то.

Все наэлектризованы. Я больше всех. Дрожь меня сотрясает. Особенно когда думаю о сумме аванса. Ведь в те годы пятьдесят рублей — это была неслыханная плата за выступление, а тут аванс! Я, выступая по разным клубам, получал самое большее тринадцать рублей, а тут аванс!

И вот дело уже к восьми, а мошенника все нет.

— Не придет ваш жулик! — смеется лейтенант. — Что он, дурак, что ли?

— Подождем еще немного, — говорит председатель профкома без всякой надежды.

В восемь часов председатель говорит мне:

— Пойдемте, хоть покажитесь публике… Вот беда!

И вот я выхожу из-за кулис на сцену, и зал меня приветствует, и председатель, вышедший со мной, потерянно говорит в зал:

— Тут, понимаете, вот какая штука получилась… Как бы вам это объяснить…

Я отодвигаю его от микрофона и рассказываю о случившемся. Все хохочут, аплодируют и кричат:

— Пойте! Пойте!..

Председатель шепчет мне:

— Может, выступите?.. Что же теперь-то… Уж теперь придется…

Вдруг у меня мелькает мысль, что все это затеяно специально, чтобы заставить меня выступить!.. Впрочем, эта мысль тут же гаснет, потому что в те годы меня не нужно было уговаривать и всякое приглашение выступить я почитал за большую честь… И все-таки я замотал головой и наотрез отказался, мол, я не готовился, и гитары со мной нет, и вообще вы сами видите, как все сложилось…

Так и разошлись.

Через несколько лет в перерыве одного из выступлений кто-то вручил мне конверт. В нем лежала фотография незнакомого мужчины. На обороте была надпись: «Этот человек на книжной ярмарке выдавал себя за вас и давал автографы на ваших книжках».

Глядя на эту фотографию, я вспомнил ту давнюю историю на заводе твердых сплавов. Этот тоже был молодой человек, высокий и широкоплечий. Но он был брюнет, и у него были пышные украинские усы.

И все-таки большая честь.

Новенький как с иголочки

Сутилов похож на маленького Наполеона перед маленьким Ватерлоо. Он уже всего хлебнул на своем веку. Он знает, что почем на свете. Маленькие его руки скрещены на маленькой груди. Он, конечно, знает наизусть всю Калужскую область, как Наполеон — свое поле сражения… Сюда — батальон, сюда — полк, сюда — армия…

Сутилов распределяет учителей по школам области. Я понимаю, как это трудно. Но ведь и мне нелегко. У меня свои планы…

Сюда — батальон, сюда — полк… А меня?..

— В Шамордино, — говорит он, не глядя в глаза.

— Это что еще?

— Деревня, — говорит он.

— Что?!

Я кричу так звонко, так истошно, что самому страшно. Ничего, пусть знает… У него ощерены крупные желтые зубы. Он часто глотает слюну… Ничего, пусть знает… Но я беру себя в руки. И усмехаюсь прямо в глаза ему. И вдруг мне становится жаль его. За окном — серый полдень. А Сутилову приходится всегда смотреть в это окно. На нем серый мятый костюм из дешевого коверкота. Лицо серое, скучное, как последний липовый лист. Он даже звона трамваев не слышит!

Калуга… И все-таки я усмехаюсь, потому что думаю, как теперь каждый входящий будет кричать на него и топать ногами. Ничего, пусть знает…

— Я могу только в городе работать, — говорю миролюбиво, — мне деревня противопоказана. В городе — это другое дело. А деревня мне противопоказана…

— Нет, — говорит он.

— Да, да, — говорю я, чтобы окончательно его подавить.

— Город не получится, — говорит он спокойно, словно ничего не произошло.

С ума сошел!.. Что он, не понимает ничего?.. Или разыгрывает?..

— Может, я сам могу выбирать себе место под солнцем?!

— Нет, — говорит он.

— Может быть, в вашем ШамординЕ и публичная библиотека имеется?

— В ШАмордине, — поправляет он.

— Значит, я должен плюнуть на аспирантуру ради ваших интересов?

— Нам учителя нужны.

— А мне какое дело?

— А мне какое дело? — говорит он.

Поле боя покрыто пороховым дымом. У маленького Наполеона всё продумано. Его не страшат атаки моих легкомысленных гусар. Он и не такое видывал. Он держит меня своей широкой заскорузлой пятерней за горло. Я чувствую, как она жестка.

— Послушайте, — говорю я, — в ваши обязанности входит считаться с запросами людей?

— Да, — говорит он.

— Мне нужна городская школа… Город мне нужен…

— Нет, — говорит он.

В холодных глазах его — только опыт, много опыта и усталость. Он не хитрит. Он прост, как его кабинет, где только стол, три стула и карта области на стене.

— Вы хотите, чтобы учитель работал с полной отдачей сил?

— Да, — говорит он.

— Радостно, без раздражения?

— Да, — говорит он.

— Так оставьте меня в городе!

— Нет, — говорит он.

— Я не могу ехать в деревню!.. Мне нельзя приказывать!.. Я литератор, а не солдат!.. Чего вы жмете?.. Не желаю в грязи утонуть!..

Он снова обнажает зубы. Может быть, это улыбка? Так улыбаются, когда хотят ударить, когда можно наконец ударить и не получить сдачи.

— Значит, деревня — это грязь? — спрашивает он шепотом. — Колхоз — это грязь?.. Мы двадцать лет создавали грязь?..

— Вы меня не так поняли, — говорю я шепотом.

— Значит, вы считаете, что наши колхозы — это грязь? — шепчет он.

— Я не то хотел… — шепчу я.

Я знаю, как это бывает, знаю. Теперь не будет ни деревни, ни города… Вот почему небо такое серое, и улыбка на сером лице… Я знаю, как это бывает!..

— Я не то хотел, — шепчу я.

Он отпускает мое горло и кладет пятерню на телефонную трубку. И смотрит на меня выжидательно…

До пятидесятого года я дополз, докарабкался… Теперь — всё. Я знаю, как это бывает.

— Я этого не говорил, — говорю я.

— А я и не утверждаю, — говорит он. — У тебя хорошее, открытое лицо…

— Как жалко, что ни одного места нет в городе, — говорю я.

— Жалко, — усмехается он.

Он дипломат. Хоть это и не нужно. Куда я денусь? Артиллерия его мощна. Он много лет стреляет в одну цель. Что я могу?

Пока я со школьной скамьи тешил себя — он пристреливался. Теперь его снаряды, каждый весом с корову, летят в меня.

— Может быть, найдется одно местечко?

— Нет.

Это потом я буду смеяться над собой и над ним. Сейчас мне не до смеха. Еще один залп — и мои бастионы рухнут. Это потом я буду смеяться. А еще позже я буду вспоминать даже с уважением и… с ненавистью. От ненависти отделаться не смогу. Но это потом. Сейчас я просто презираю его. Мне не остается ничего другого — я разбит. Презрение — это единственное, что можно себе позволить после того, как ты твердо был уверен в выигрыше и вдруг проиграл.

— Неужели нет ни одного места?

— Нет.

Маленький Наполеон стоит передо мной, скрестив на груди руки. Может быть, все-таки угрызения совести мучат его?.. Или воспоминания о собственной юности?..

В серых глазах его — серое калужское небо. Я кажусь себе жалким под его взглядом.

Ну хорошо, я разбит, разгромлен, но ведь можно сказать что-нибудь человеческое!.. Скажи, ты, недоносок!.. Стань теплее! Положи руку мне на плечо, сними ее с горла!.. Мне ведь немного надо… Я ведь уже твой… Пообещай что-нибудь доброе… Но он смотрит на карту. Сюда — полк, сюда батальон, сюда — дивизия…

— Может быть, хоть какое-нибудь место, а?

— Нет.

А то, что я представлял себе вчера? Как быть с этим? Я в черном пальто, в руке — портфель. Я медленно иду из школы. Кружатся золотые листья. Вечер. Я живу на тихой улице, где липы и одинокая рябина меж ними. Старинный дом. Скрипучая лестница — туда, наверх, где моя комната. Книги, книги… Милая немолодая хозяйка, которая по вечерам играет Сен-Санса. Идет дождь. Потрескивают в печи дрова. Сверчок какой-то трудится в углу.

— Сверчок, — говорю я, — вечный труженик.

— Он живет у нас с незапамятных времен, — говорит

хозяйка.

— Опять дождь, — говорю я.

— Что-то есть в этом очаровательное, — говорит она, — сверчок… дождь…

— Сыграйте еще что-нибудь, — прошу я.

Она играет. Идет дождь. Глухо звенят часы со стены… Сутилов подходит ко мне.

— Может быть, временное место есть какое-нибудь? — спрашиваю я.

— Зачем так унижаться? — говорит он.

— Мне в городе нужно, — говорю я расслабленно.

— А там, в Шамордине, — говорит он, — бывший женский монастырь. Там Толстой бывал. Можно про это статью написать, диссертацию…

Он даже улыбается. Он заглядывает мне в глаза, словно хочет полюбоваться на мою слабость. Крупные желтые зубы его обнажены в улыбке.

— Чудак, — говорит он, — я же добра тебе хочу. Я ведь любого туда не направлю… Чудак! Понимаю — Москва… А Калуга?.. Разве это город?

Он кладет руку мне на плечо.

— Я тебе честно скажу, — говорит он, — есть в городе одно местечко. Пятый класс. Но неужели ты, филолог, удовлетворишься этим? Городская школа… казарма… штамп… Затеряешься… А там ты — бог, царь, всё. Всё твое. Там грамотные нужны, а здесь — что? Я ведь специально тебя посылаю, — говорит он шепотом, — именно тебя… — и подмигивает. — Сюда я какую-нибудь дуру бездарную ткну, и сойдет.

Он совсем приблизился ко мне. Прощай, Калуга. Прощай, город. Не вышел наш роман.

Прощай, незнакомая женщина, играющая Сен-Санса…

— Договорились? — спрашивает он.

— Нет, — говорю я.

— А что же ты поделаешь? — улыбается он.

— Почему это вы на «ты» со мной? — спрашиваю я. И снова — руки на груди. Он презирает меня за слабость. Он отпускает меня на все четыре стороны.

— Черт с вами! — говорю я. — Найду другой город.

Он провожает меня к дверям. Широко распахивает их.

— Видишь? — говорит он.

Я вижу… Вижу. Вся приемная забита вот такими же, как я. Они смотрят на нас выжидательно. Они ждут своей очереди. Там даже такая красивая москвичка мелькает. Она вытягивает шею и подобострастно смотрит на Сутилова.

— Видишь? — смеется он. — Без кадров не останемся.

— Ну и черт с вами, — говорю я и иду через приемную, расталкивая своих коллег.

— Если надумаешь, — кричит он, — возвращайся, примем!

…И я вернулся.

* * *

Вещи мои лежат на зеленой августовской траве.

Чемодан и одеяло. И авоська с копченой колбасой. И тючок из зимнего пальто.

Мне немного смешно: сельский учитель. Как я учить буду? Но здесь прекрасно!

Этот холм, мягкий и заросший, это высокое небо, этот полуразрушенный собор, несколько домишек вокруг… А там, за оврагом, — Васильевка, деревенька, похожая на растянувшуюся детскую гармошку.

Куда ты попал, мой милый, мой дорогой?

Мне немного смешно: у жизни свои планы, их не предусмотреть.

Откуда-то из-за деревни выглядывает испуганное и высокомерное лицо Сутилова. Он поглядывает настороженно: а не переменю ли я планов? А не смеюсь ли? Дам ли ему наконец покой?

Как хорошо! Как тихо! И солнце… Внизу, под холмом, счастливой подковкою изогнулась река. На горизонте — лес. Почему я отказывался ехать сюда? Не помню. Уже не помню… Солнце. Ранний вечер. И ни души. Что может быть лучше после грохота поездов, духоты вагонов, суеты большого города, тряских грузовиков, равнодушных чиновников?

Вещи мои лежат на зеленой августовской траве.

Вот здесь мне работать, в этом двухэтажном старинном кирпичном доме.

— У монахинь здесь трапезная была, — говорит мне Шулейкин, директор школы.

— Петухи поют, слышите? — говорю я, улыбаясь.

У Шулейкина маленькие добрые глаза. Он немного смущен. Это хорошо видно.

— Из университета к нам еще не присылали, — говорит он. — Университет — это не пединститут.

— Конечно, — говорю я значительно. — Впрочем, разве в этом дело? — говорю. — Университет, правда, дает больше знаний, но ведь дело-то в человеке…

— В душе, так сказать, — говорит Шулейкин.

— Конечно, — говорю я.

— В умении найти общий язык, — говорит Шулейкин.

— Еще бы, — говорю я.

Потом приходит завхоз.

— Готова квартира, — говорит он.

Мы берем по вещи каждый и идем по дорожке, и лопухи бьют нас по икрам.

— Хорошо у нас, — говорит Шулейкин. — Жаль, что в войну часть дубов повырубили…

— И так хорошо, — говорю я.

Он улыбается. Я улыбаюсь. Солнце садится.

Коридор каменного домика. Прямо — дверь. Небольшая комната. Белая. Большое окно с видом на реку и луг.

— Вот ваша келья, — смеется Шулейкин.

— Чудо! — говорю я.

— Здесь раньше жил монастырский казначей.

— Ого!

— Вид хороший, — говорит завхоз и уходит.

— А не боитесь глухомани? — говорит Шулейкин. — Серости не боитесь?

— Чепуха!

Знал бы он, как это прекрасно, когда солнце и простор… И нет дождя, проливного, осеннего…

— Тут у всех хозяйство. А вы что есть будете? Магазинов-то нету.

Прощупывает!..

— Буду пить молоко.

— Обзаведетесь хозяйством, — говорит Шулейкин. — Приживетесь. Невесту подыщем, — он смеется. — Не захочется уезжать. — Он говорит об этом недоверчиво и потом — тихо: — Народ здесь у нас не очень добрый. Вы это учтите.

— Чепуха, — говорю я.

Вот она, моя келья!..

— Ремонт сделаем, — говорит Шулейкин.

— Какой еще ремонт? Зачем?

— Дыры везде… Замерзнете…

— Чепуха.

— Это не чепуха, — мягко говорит он. — Пойдемте походим.

Мы идем с ним по поселку.

— А вон Виташа, — говорит Шулейкин.

Возле школы играют в волейбол.

— Виташа — это учитель, — говорит Шулейкин. — Виктор Павлович. Любит действовать исподтишка…

Поют пчелы. Пахнет медом…

* * *

Разве мог я понимать, как прекрасны люди, пока не попал сюда?

Мои восьмиклассники сидят передо мною неподвижно. Они еще многого не знают, но они прекрасны, и они мои. Им еще сладка неграмотность, но это не их вина. И холодная осень стремительно кружится по монастырю и обрамляет их лица.

Лица моих учеников неподвижны, но в их глазах давно горят огоньки здравого смысла, иронии, доброты, непримиримости и надежды.

А в это время на деревьях, что раскинулись вокруг, сидят птицы. И они поют. Они похожи на последние осенние листья. Я отчетливо слышу их звонкое пение даже сквозь двойные рамы окон.

Коля Зимосадов входит в класс в стоптанных сапогах, в залатанном пальтишке, с офицерской сумкой через плечо. Это уже через много лет он станет офицером. А пока он садится на свое место, коренастый и неторопливый, и устраивается, и всё раскладывает по своим местам, и смотрит на меня, словно надеется, что именно сейчас-то и раскрою я ему все премудрости учености. Он давно уж перерос свои пятнадцать лет, взрослый маленький мужичок с грубоватыми руками.

— «Окно» пишется, Коля, через «о»… Забыл?

Он краснеет, крутит головой, старательно исправляет ошибку. Кто-то обучал их не очень влюбленно.

— Нравится вам ваша школа?

— Хорошая школа, каменная, — говорит кто-то.

Мне вспоминаются испуганные маленькие глаза Шулейкина, когда я объявил ему, что первый диктант весь класс написал на единицу.

— Что с вами? — спрашивает он.

— Всё в порядке, — говорю я. — Вот посмотрите.

Он дрожащей рукой перелистывает странички.

— Может быть, у вас с дикцией не всё хорошо?

— С чем?..

— Может, вы диктовать не умеете?

— Ну, знаете!..

— Такой грамотный класс, и нате…

Он так говорит об этом, что я чувствую себя виноватым, хотя и недели не прошло, как я вошел в этот класс.

— Вы отметки в журнал не ставьте, — говорит он. — Кошмар какой-то…

— Что случилось? — спрашивает Клара Ивановна.

Она завуч. Она преподает ботанику. Ботаники они почти не знают. Она просто читает ученикам главы из учебника. Наверное, потому лицо у нее всегда испуганное.

Она смотрит то на меня, то на Шулейкина круглыми коровьими глазами, и полные ее губы слегка приоткрыты в томительном ожидании.

Потом она всплескивает руками:

— Что же вы наделали?!

— Я думаю, нужно еще один диктант провести, — говорит Шулейкин. — Полегче…

— Катастрофа, — говорит Клара Ивановна.

Виташа подмигивает мне по-дружески из другого угла учительской.

— Ну что же, — говорю я, — давайте попробуем.

Мы пробуем.

Шулейкин приносит мне новый текст для диктанта. Текст примитивен и короток.

— Это же для учеников пятого класса, — говорю я.

— Вот и хорошо, — говорит он. — Будет положительный результат.

Он при этом смотрит мне прямо в глаза, и я чувствую себя дураком.

— Вот и хорошо, — говорит он, — сложное мы еще успеем.

— Дурак, — шепчет мне Виташа, — начнешь с простого, отметки будут хорошие, а потом перейдешь к сложному — колы пойдут… А кто обучал? Ты… Кто виноват? Ты… Дурак.

Я диктую этот примитивный текст. Я диктую, как Левитан. Я декламирую, как Яхонтов. Пусть они не думают, что у меня с дикцией слабо.

А птицы поют. Красные, желтые, зеленые, черные, они поют, сидя на ветках деревьев.

А Шулейкин медленно ходит по рядам. Он иногда останавливается. Тычет пальцем в тетради моих учеников.

— Разве здесь одно «н»?..

— Подумай-ка над этим словом… Вот теперь другое дело.

— Запятые-то позабыл…

— Зачем вы подсказываете? — говорю я шепотом.

— Какие же это подсказки? — говорит он громко. — Они волнуются… Это помощь маленькая. Потом мы вместе проверяем диктанты.

— Ну это можно за ошибку не считать, — говорит он, — и

это, пожалуй, тоже…

Он улыбается мне:

— Теперь вам будет легче. Не помоги я, кто знает, что было бы…

Он делает жест правой рукой, словно пытается понять себя. Он доволен. Единиц нету. Двоек нету. Троек много, но это не страшно. У Гены Дергунова пятерка.

— Ничего не понимаю, — смеется Шулейкин, — это же самый слабый ученик…

— Вы ему много подсказывали.

— Да помогал я! Какие это подсказки? Даже не помогал, а подбадривал.

Потом он сам, собственноручно выставляет отметки в журнал.

Потом он говорит по телефону с заведующим районо. Я слышу:

— Новенький?.. — говорит Шулейкин и улыбается мне. — Отлично. Успеваемость дает стопроцентную…

Я делаю ему знаки. Я пытаюсь его остановить. Это очень неудобно, когда тебя хвалят при тебе же. И за что?

Но что-то теплое обволакивает меня. Теплое и волнующее. На одно мгновение. В детстве, когда тетка говорила обо мне кому-нибудь: «Он самый хороший мальчик», — я испытывал то же самое.

Неужели так просто и покупается покой? Я смотрю на Шулейкина. Он скромен, вежлив, сдержан… Он хочет мне добра… Но он учит меня подлогам!.. Нет, он хочет мне добра… и себе… и всем. Он учит меня подлогам… Легко возмущаться и обвинять… Нет, он учит меня подлогам… Нет, он хочет мне добра… Вот он улыбается и кивает мне. Он улыбается, потому что скрутил меня!.. Но в его улыбке — что-то дружеское и теплое. Приятна его улыбка и нужна. Я совсем одинок. Я пока никого не знаю. Кто-то нужен рядом. Клара Ивановна глупа и истерична. Виташа смотрит в свой огород… Шулейкин тоже одинок… Нельзя видеть в людях только плохое, нельзя… У него нелегкая жизнь… Ему приходится бороться… За что?.. И Клара Ивановна улыбается…

А птицы горланят во всё горло. Их пестрый хор отчетливо слышен сквозь двойные рамы окон.

И Ваня Цыганков, рыжеволосый и косматый, разинув рот, влюбленно вслушивается в их пение. И мне не хочется его будить, отрывать, мешать ему.

Он сидит за партой неуклюже, рассыпавшись на составные части: нога там, рука — в другом месте, голова под солнцем, под

последним… Впрочем, никакого солнца и нет…

А Саша Абношкин, сын председателя колхоза, продолжает свою речь:

— …После этого они поступали в светское общество…

— Как это «поступали»?

Он мнется. Он самолюбив. И колок. Ну ладно, я ведь тоже всё это прошел и знаю. Я тоже самолюбив… Мне только двадцать шесть, а не пятьдесят.

— Как это «поступали»? Это что, учреждение? Школа?

Он молчит. Я сбил его.

— Ну как ты это себе представляешь? Здание такое, да?

— Ну, здание…

— Двери, окна, вывеска над входом, да?.. Написано: «Светское общество», да?

— Кто его знает…

Потом, когда я с грехом пополам вдалбливаю в их неприспособленные, практичные головы эту абстрактную чепуху, Саша Абношкин говорит мне, прищурившись:

— А зачем это нам? Трактор и без этого пойдет.

— Ты это серьезно?

Он усмехается.

— Ладно, — говорю я миролюбиво, — будем считать, что теперь истина установлена.

— А я и раньше знал, — говорит Саша Абношкин.

Голова его вздернута неимоверно. Он старается смотреть на меня сверху вниз. Он из тех, кто участвует в соревнованиях только тогда, когда абсолютно уверен в своей победе. Если он не уверен, он откажется от соревнований. Он будет тайком тренироваться до тех пор, пока не почувствует, что готов выйти и победить. Он начинает огрызаться, презирать, ненавидеть…

— Всякий нормальный человек должен любить читать, — говорю я.

— А вот бабка Прасковья не любит, — медленно говорит Гена Дергунов. — Что ж она, ненормальная?

Они объявляют мне войну. Не кровавую, не смертельную, не ожесточенную… Но такую, что держи ухо востро перед их ранней земной мудростью и насмешливостью. Это война добрая. Это означает, что тебя признали… Наверное, это честь для меня, что они снизошли до единоборства со мной. Легкое, изящное «кто кого», оно ведь нам не в тягость…

— Но оно мешает, — мягко говорит Шулейкин. — С ними нужно быть построже… Распускать нельзя… всякие вопросики… каламбурчики… Ученик учиться пришел? Вот и пусть учится, а над учителем подтрунивать…

— Мне видней, — говорю я.

— Нет, мне видней, — мягко говорит Шулейкин. — По диктанту тоже спорили, а вышло…

— Вышел подлог, — говорю я шепотом.

Почему я говорю об этом шепотом?

Он молчит.

— Здорово ты его рубанул, — смеется на улице Виташа.

— А ты-то что же молчал? — спрашиваю я.

— Да я не успел, — говорит он растерянно.

Ужасно заставлять людей врать и оправдываться…

— Ладно, — говорю я, — замнем. Я пошутил.

— Мне здесь жить, — говорит Виташа. — Ты-то уедешь. Ты сегодня здесь, завтра — там… А мне здесь оставаться.

А птицы поют…

* * *

Она кутается в мамкин платок. И переминается с ноги на ногу. А на ногах ее — старые валенки, подбитые резиной, и большие нелепые латки на тех валенках.

Но, когда она делает шаг, в классе становится тихо.

Или это мне кажется?

И она идет в мою сторону. Она идет плавно, слегка покачивается на ходу, как балерина. Это такая особая походка, словно кончиком ноги слегка прикасаются к воде: не холодна ли?

— Скажи-ка мне, Багреева…

А о чем спрашивать — не знаю.

За окнами — голые холмы, серое небо. А может быть, и дождь сыплет… А Багреева держит высоко прекрасную свою голову. Она стоит прямо передо мной, только на меня не смотрит.

В классе очень тихо. Я не должен был ее вызывать первою. Она слишком необычна для этого. Хороша слишком. Еще подумают… Видят ли они, как она хороша?

А она стоит, не глядя в мою сторону, и ее большие ресницы (Господи, как нарисованные!) колышутся слегка, подобные мягким темным крыльям.

— Возьмите мел, Багреева.

Для чего этот мел?.. Ну что она будет писать?..

Она берет мел. Маленькая, тонкая ее рука высовывается из рукава. На ней старомодный пиджак. Мужской. А рука маленькая и тонкая. А пальцы красные, и кожа на них потрескалась. И в этих красных, озябших пальцах белый мел…

Я должен обучать ее прекрасным стихам, и она должна

научиться не смотреть мне в глаза так пугливо и даже не отворачиваться, и она должна знать себе цену… Бред какой-то!

Там, за окнами, ветхие крыши Васильевки темнеют над оврагом. Знают ли они, для чего я сюда приехал?

— Вы знаете, кто такой Сен-Санс?

Кто-то тихо смеется. Она вздыхает. Она смотрит на меня громадными карими своими глазищами. Она вздыхает. Кто-то смеется. Я листаю журнал и ничего не могу прочесть в нем. Почему я на «вы» с ней?..

Вот она стоит передо мной, Багреева Вера. Что она думает о себе?.. Хоть бы согрела руки, чтобы пальцы оттаяли, чтобы мел не дрожал и не крошился… Она вздыхает. Почему это я говорю с ней, с восьмиклассницей, на «вы»?..

— Вы не знаете, кто такой Сен-Санс?

— Что?..

За окнами — голые холмы, серое небо. Скоро снег, скоро снег…

— Положи мел, Багреева.

Она кладет мел. Она краснеет. А там, в Васильевке, уже зажигаются огни. Керосиновые лампы с закопченными стеклами стоят, как солдатики, на столах. Туда, через овраг, на те огни, по мокрой скользкой осенней дороге пойдет Багреева Вера. Походка ее будет плавна, как у балерины.

— Багреева, ты была когда-нибудь в театре?

— Нет.

Она вздыхает. Неужели она не знает, как она красива?

— Кто из вас бывал в театре?

Все сидят неподвижно.

— А знаете ли вы, что такое трамвай?

Да, конечно, они слышали. Он гремит по утреннему городу. Я вижу напряженное лицо вожатой и заспанные губы кондукторши. Я покачиваюсь на задней площадке, трясусь… вместе со всеми своими радостями, и раздумьями, и печалями… И пассажиры толкают меня под бока…

Это старое уродливое электрическое животное — трамвай! Но на нем я уезжал в будущее, когда еще не существовали троллейбусы…

…Она будет идти по скользкой дороге. Будет уже темно вокруг. Ведь теперь темнеет рано. Осень ведь… Знает ли она о том, как она красива?.. И в губах — ничего детского, уже ничего… В деревнях взрослеют рано.

— Что ты будешь делать, когда домой вернешься?

Кто-то смеется. А может быть, кашель сдерживает…

— Воды наношу, — говорит она и смотрит в окно.

И уже ни пиджака мужского на ней, ни старого платка, ни валенок разбитых, ни красных, озябших пальцев… Что-то светлое, легкое, гордое…

Она идет по проходу к своей парте. Вот так она и будет идти всегда мимо молчаливых товарищей, мимо Васильевки, и проход меж рядами — это как продолжение поздней осенней дороги…

— В деревне часто встречаются великовозрастные ученики, — говорит Шулейкин в учительской.

— Какие?

— Ну, переростки. Условия труда, и всё такое прочее. Вот, например, Вера Багреева…

Он смотрит мне в глаза прямо и подозрительно.

— Не помню, — говорю я.

— Вера Багреева… Красивая такая…

— Не помню, — говорю я.

— Ей вот, к примеру, семнадцать, а она в восьмом…

— Она что, тупая?..

Он смотрит прямо в меня. Маленькие глазки его не моргают.

Шалишь! Ничего не получится. Я не таковский. Я тоже не дурак.

А за окном — темень. И три керосиновых солдатика с трудом освещают учительскую. И Вера Багреева носит воду. И коромысло изгибается на ее плече. И красными, озябшими пальцами она придерживает мокрое дерево. Сыплет дождичек осенний, а она идет медленно, но легко, покачивается. Она ступает так, словно пробует воду в реке кончиками пальцев.

— Неужели вы не заметили Багрееву? Такая красивая, стройная девица. У нее мать тоже… Особенно раньше… А у этой, у дочери, ресницы мохнатые…

— Не помню, не заметил.

— Городским она нравится. Нынешним летом инспектор молодой из Калуги приезжал… Возвращаться не хотел.

— Не помню, — говорю я. — Не помню Багрееву.

Конечно, если снять с нее эти валенки… Мне двадцать шесть — ей семнадцать. Это значит, девять лет разницы. Не так уж много…

— Вон вы какой красивый, — говорит Шулейкин.

— С чего это вы взяли?

— У вас усики черные, и вообще брюнет…

— Ну так что же?

Девять лет — такие пустяки…

— Непросвещенное мнение русских женщин относительно брюнетов… — поясняет Шулейкин.

— Да ну что вы…

— Они считают: раз темный, значит, хорошо. Контраст.

Свет падает Шулейкину на лицо, и шрам на носу словно налился кровью. Набух. А в маленьких глазах его — боль и вопрос. Он подстрижен и выбрит на славу. Как это он здесь умудряется?.. Толстые монастырские стены холодные. Печи едва живы. Вот если бы на этом прекрасном холме выстроить прекрасное здание, стеклянное и прозрачное и теплое…

— От холода у учеников руки краснеют, — говорю я.

Он смотрит на меня и слегка улыбается.

— Я видел сегодня: руки красные, озябшие, мел не держат… Обидно…

— У Багреевой Веры руки от кипятка красные, — говорит он, — обварила. — Он смотрит на меня и слегка улыбается. — Конечно, обидно, — говорит он, такие красивые руки…

Ей семнадцать?.. Вот почему уже ничего детского в молчаливых и неподвижных ее губах.

— Мать у нее красавица, вот увидите… Так сказать, красит наш унылый пейзаж. А летом у нас хорошо.

И он продолжает внимательно вглядываться в меня. И что-то жалкое мелькает в его взгляде. Мне грустно и не по себе. Хочется уйти из этой комнаты, где, кроме стен и стола, покрытого красным сатином, больше ничего нет.

* * *

И здесь, оказывается, льют дожди. И здесь — холодно и сыро. И келья моя протекает. И четыре кубометра осиновых дров гниют под дождем. Чем я буду зимой отапливаться?

— Еще будут хорошие деньки, — говорит Мария Филипповна, пионервожатая. — Еще в колхозе наработаемся.

— То есть как это?

— Обязательно, — говорит она. — Все пойдем: и ученики, и учителя.

Если бы я был посчастливей, сидел бы сейчас в публичке. Завтракал бы дома. Ходил бы в кино, когда хотел…

— Вы приходите к нам пообедать, — говорит Мария Филипповна. — Что ж на молоке на одном сидеть… Разве можно?.. Живот испортите.

— Я солдат, — смеюсь я. — Я привык ко всему.

А у них дома, наверное, тепло. Они обжились… Дом!

— Мне бы вот сахару достать, — говорю я.

— А вот мы в воскресенье в Козельск за продуктами поедем… Давайте с нами…

Чаю хочется!.. Обыкновенного горячего чаю… Раньше мне хотелось быть великим, хотелось попасть на Северный полюс… Хотелось написать роман… А сейчас хочется чаю…

— А я примус в Козельске куплю. Чай буду варить себе.

Она смотрит на гнилые дрова. Покачивает головой.

— Безобразие, — говорит. — Человек университет окончил, а они дров хороших дать не могли!.. — И оглядывается.

— Кто они?

Она смеется. Оглядывается по сторонам.

— Вы потише, — лицо у нее растерянное, — у нас в поселке слышно очень.

— Колхоз тут у вас развалюшка какая-то, — говорю я.

— Тшшш…

Губы у нее становятся белыми. И она шепчет этими белыми губами:

— Что вы… что вы… — И снова громко: — Послевоенные трудности. Ничего, это мы наладим… — И снова шепотом: — А то еще ученики услышат. Белыми губами: — Они знаете какие?.. — И снова, извиняясь: — Вы мне всю работу испортите…

…Я говорю своим восьмиклассникам:

— Результаты третьего диктанта — колы. Нравится?

Они молчат.

— Не нравится?

Они молчат.

— Цыганков Ваня, тебе нравится?

Он стоит за партой. Крутит рыжей кудлатой головой.

— Ну, нравится тебе такой результат?

— Не-е…

— Кому нравится?

Они молчат.

— Вот и выбирайте. Сами выбирайте, — говорю я. — Как скажете, так и буду поступать.

Что-то подкатывает к горлу. Что-то душит меня. Ну вы, ну поддержите хоть вы меня! Скажите хоть одно слово. Я не знаю, чем это кончится, но давайте воевать…

— Мы можем писать легкие диктанты, как тогда… Если вы хотите. Я даже могу подсказывать вам. Вы меня любить будете за доброту мою… А?

Они молчат.

— Меня все хвалить будут… Хороших дров мне привезут. Будет большой праздник…

Кто-то фыркает. Или я напрасно взываю к ним?

— И спрашивать я буду очень облегченно. И когда буду спрашивать, буду в окно глядеть, чтобы не мешать вам в учебник

подсматривать…

Коля Зимосадов сидит, насупившись. У Маши Калашкиной растерянная улыбка на некрасивом лице. Шура Евсиков барабанит по парте пальцами. Он очень сосредоточен.

— Хотите такую жизнь? Да? Одно слово, и всё будет по-вашему.

Они молчат.

— Хотите?

— Не хотим, — говорит Гена Дергунов и прячется за развернутую книгу.

— А ты за всех не отвечай, — говорит Саша Абношкин.

— Хотите?

— Лучше, чтоб полегче, — улыбается Маша Калашкина.

Подвел ты меня, Абношкин!

— Полегче не будет, — говорю я.

Они молчат. Бунт?

— Пусть кол, да мой собственный, — говорит Шура Евсиков. — Мне чужие четверки не нужны.

Ааа… Вот оно!

— Зимосадов.

— А мне тоже не нужны…

— А ты, Абношкин?

— А чего я?..

— Нагорит вам потом, — говорит мне Маша Калашкина. — Вам Шулейкин даст…

— Не твоя забота, — говорит ей Саша Абношкин.

— Выставлять колы в журнал? — спрашиваю я.

Они молчат.

— Выставлять?

Они молчат.

— Выставлять или нет?

— Ставьте, — говорит Гена Дергунов и прячется за развернутую книгу.

— Кто за?

Они поднимают руки.

Ну вот, теперь и начнется!.. Зачем мне это? Друг мой, друг мой, за то ли ты взялся?.. А в монастыре бывал Толстой… Забыл ты об этом, забыл… Хватал бы ниточку за неверный ее конец… Потомки спасибо сказали бы!..

— Не тем вы занимаетесь, — мягко говорит мне в учительской Шулейкин. Возбудили детей.

— Детей? — смеюсь я.

Теперь наши позиции стали хоть определеннее. Теперь легче. Вот — я, а вот — он. Главное теперь — это не нарваться, не

раскричаться, не устроить истерику.

— Детей? — смеюсь я.

— Вы еще очень неопытны, — мягко говорит он. — Можете споткнуться…

Я улавливаю легкую угрозу. Она едва ощутима, как в жару — будущий дождь.

— Они не так безграмотны, как вам кажется, — говорит Шулейкин.

— Вы мне угрожаете?

— Вот видите, как вы поняли товарищеский совет? — качает он головой. — Вот видите?..

— А может быть, и в самом деле, — говорит Клара Ивановна, — начать с колов?.. Ну пусть уж…

Он останавливает ее едва заметным движением руки, и она послушно смолкает.

— Послушайте, Михаил Андреевич, — говорю я Шулейкину, — вы что, боитесь меня? Или я ваши планы нарушил? А?

— Я ничего не боюсь, — говорит он.

— А чего вас бояться, — говорит Маракушев Николай Терентьевич вызывающе, а сам смотрит на Шулейкина, словно ждет его распоряжений.

Я резко поворачиваюсь к нему.

— А вы еще откуда взялись? — говорю я ему очень обидно. Но он не обижается. Только бы не сорваться. Пусть знают!.. Еще бы мне широко улыбнуться, помахать им рукой и выйти… Не могу…

— Вы не вмешивайтесь, — говорит Маракушеву Шулейкин.

Они уже между собой воюют. Ладно, у меня тоже свои соображения на сей счет…

* * *

— И всю ночь будем работать? — спрашиваю я.

— Всю ночь и будем, — говорит Виташа. — Это вам не в городе в постельке спать. — Он смеется. Он смотрит на меня. — Ничего, мускулы развивать надо. Покрутите машинку!.. — Потом он успокаивается, говорит серьезно: — Надо ведь колхозу помочь…

Как ему приятно сообщить мне это!

— А ты что, против постельки? — спрашиваю я. — Ты считаешь, что это только для городских сибаритов? Да, Виктор Павлович?

— Я пошутил, — говорит он, и сплевывает на пол, и наступает валенком на плевок.

Нет, нет, никаких вопросов. Разве я возражаю?.. Хоть и есть во всем этом какая-то несуразица… Ладно, учись, дурак. Учись высокому искусству веяния овса… Ладно, не спрашивай. Жизнь так коротка… А что, если тот мешок овса, что тебе суждено провеять, и есть главное, во имя которого всё? Учись, дурак… И торопись… Виташа посмеивается, но у него узловатые сильные руки… Черт! Неужели до сих пор сильные руки — самое прекрасное, что создал человек?.. Ладно, не спрашивай… Ладно. Молчу… Мы будем веять ночью… Ладно. Днем мы будем учить крестьянских детей быть прекрасными. Ладно, мы пренебрежем постельками… Лейся, золотой овес!.. Трещите, закрома!.. Что делают из овса? Крупу «Геркулес», печенье, овсом кормят лошадей… Машинам нужен бензин…

— А вы тоже идете в ночной поход? — спрашиваю у Шулейкина.

— А как же, — говорит он и пытается обнять сам себя правой рукой. Странная манера.

— Почему это он так делает? — тихонько спрашиваю у Виташи.

— А черт его знает. — Виташа сплевывает и растирает плевок валенком.

— Ну, теперь началось, — говорит Маракушев, — теперь на месяц… Понеслась!..

— Вам-то уж не впервые, кажется, Николай Терентьевич, — говорит Шулейкин обиженно. — Вы-то чего возмущаетесь?

— Гы, гы, — растерянно смеется Маракушев, — я не возмущаюсь, я так…

Мы шагаем по грязной дороге. Впереди — овраг. За оврагом — Васильевка. Там — редкие огоньки. Там — Вера Багреева. Она воду несет на длинном изогнутом коромысле.

Все растянулись цепочкой. По одному. Только Виташа идет со мною рядом.

— Надо бы попроще одеться, — говорит он.

— Опроститься? — смеюсь я.

— Пылью всё забьет… Грязь…

Воздух ночной свеж и чист. И холодок бодрящий. И что-то есть прекрасное в том, как мы движемся по этой дороге. И я иду… Где-то, куда-то, в какую-то Васильевку. Ладно, Виташа, твоя снисходительность великолепна, но я вдоволь порылся во фронтовой земле, и если ты не знаешь, что это такое…

— Ты знаешь, почему у Шулейкина шрам через весь нос? — спрашивает Виташа шепотом.

Откуда же мне знать…

— Он приударял за одной вдовой тут, а она не хотела… А он в окно к ней полез… Она взяла серп… — Виташа смеется прямо мне в ухо, — и тем серпом его по носу…

— А может, он любил ее?

— Любил, — шепотом смеется Виташа. — Любил, — смеется он, когда Васильевка почти вся остается сзади. — Любил, — смеется он мне в ухо и кивает на крайнюю избу: — Вот здесь она живет. Дочка ее, Вера Багреева, у тебя учится. Как утка ходит… Это мать ее… Вдова эта, — он вертит головой и сплевывает на дорогу. — Любил… — смеется он украдкой.

…Я стою у веялки. Я верчу ручку барабана. Вертится легко. Хоть до утра верти.

По сараю гуляет сквозняк. Пыли действительно много. И полова золотая кружится в воздухе. Две керосиновые лампы на столбах висят. Лица у всех медного цвета. Из рукава матерчатого вытекает зерно. И какие-то бабы, закутав платками лица, отгребают его. И кто-то погружает в зерно лопату и сыплет его в подставленный распахнутый мешок.

А я кручу ручку. Рраз… рраз… рраз… Одно и то же.

Проходит с мешком Маракушев.

— Где Виктор Павлович? — кричу ему.

— Сено в сарае укладывает.

Нашел работенку, сельский житель! Сено… Легкое, как пух, сухое, душистое… сено…

— А Шулейкин?

Маракушев сбрасывает мешок с плеча. Машет рукою куда-то в сторону. Ухмыляется неопределенно.

И этот смылся… Ну ладно. Берегись, Виташа. Я тебя перекручу, я над тобой посмеюсь…

— Вы крутите, крутите, — говорит мне баба.

— А я и так кручу, — говорю я. — Вот сейчас пиджак сброшу, еще веселей пойдет.

— Не надо сбрасывать, полова по телу разлезется, — говорит другая.

— Жарко, — говорю я.

Там, у Виташи, сено. Оно прохладное и ароматное. Виташа — стреляный воробей. Он знает, где получше…

— Вы ее крутите получше, ручку-то…

— Как еще получше? Так, что ли?..

— Да хоть так…

Пожалуйста, могу и так. Как угодно могу. Лишь бы полова эта проклятая не летела в мою сторону… Она забирается за воротник, и маленькие колючие зверьки разбегаются по всему

телу, и нет от них спасения. И пыль смешивается с потом. Лезет в нос, в уши, в рот, в легкие…

А вот ходит в распахнутом полушубке председатель колхоза Абношкин (фамилия-то какая!). Он толст и угрюм. И сопит громко. Даже сквозь грохот веялки слышно. Он ходит и понукает… Почему я должен крутить эту ручку?..

Дышать этой пылью?.. Может быть, он будет собирать материал для задуманной монографии о Толстом? А может быть, она и не нужна? И ничего не нужно? Только овес, золотой овес, душистый овес, ядовитый… Только этот несовершенный механизм, унижающий человека?.. Что нужно?

А у Виташи — сено… Проморгал я. Лечь бы лицом в прохладное сено и раскинуть руки, чтобы они отдохнули. И чтобы поясница отдохнула…

Я меняю руки. То левой кручу, то правой. А крутить все тяжелей и тяжелей. А Маракушев по-прежнему щедро овес засыпает в веялку. Так долго не выдержать.

— Вы что-то помногу сыплете! — кричу я ему. И вместе с криком изо рта моего вылетает комок жеваной пыли и летит в глубину сарая.

А Маракушев всё сыплет. Медное его лицо сосредоточено. Лампы подмигивают со своих столбов. Кружится золотая пыль…

— Давай, давай! — кричат бабы.

Где это Шулейкин прячется, интересно?

— Директор-то ваш опять у Багреихи под окнами пасется, — говорит мне баба.

Ааа… Ему серпа мало. А может, это любовь? Ну не может он без нее, и всё…

— Она ему не даст, — говорит другая, — разве он ей подходит?

Сейчас, когда кончится всё, я пойду к тому дому. Я его там застану. Я ему всё скажу… Что? Всё, всё. Плевать, пусть обижается! Свет клином, что ли?.. Плевать.

— Покрутите кто-нибудь, — говорит одна из баб, — уморился ведь человек.

— Не надо, — говорю я.

Умру, а не отойду. Сейчас придет второе дыхание. Станет легче… Сейчас придет второе дыхание. Там, у Виташи, свежее сено… Ладно, крути, дурак! Крути, дурак, свою дурацкую ручку, учись высокой мудрости простоты, потом учи других любви к прекрасному… Всё встанет на свои места… Когда-нибудь ты вспомнишь об этом с нежностью…

— Устали? — спрашивает.

— Нет.

— Тогда пошибче давайте.

— Еще шибче?!

— Стало быть, еще.

Невозможно. Пот глаза мне заливает. Он жжет мое тело. Почему это мы должны страдать за этот слабый и нелепый колхоз? Почему всё — такой ценой? Почему учитель истории Маракушев должен носить мешки с овсом?.. И всю ночь?.. И не спать?.. И еще целый месяц?..

Завтра иезуит Шулейкин побежит к нему на урок, потом скажет:

— Вы плохо подготовились.

Самое смешное — это то, что мне не хочется думать о Вере Багреевой… Мне хочется упасть лицом в свежее сено… Хитрец Виташа!..

И снова появляется похожий на ямщика председатель Абношкин. Он стоит и сопит. Он смотрит на Маракушева. Маракушев сидит на мешке.

— Рано отдыхаешь, Николай Терентьич, — говорит Абношкин.

— Гы, гы, — смущенно посмеивается Маракушев и встает.

— Давай, давай! — кричат бабы.

Я кричу из-за веялки Абношкину, прямо в медную его рожу:

— Какого черта вы еще замечания ему делаете?! Вы ему спасибо скажите!

— За что же спасибо? — сопит Абношкин. — До утра успеть надо.

— Да он же не обязан овес ваш носить! Он учитель! Он ведь не обязан! Черт вас возьми!

— Да вы крутите, — говорят бабы.

— А вы если устали… — говорит Абношкин.

— Я не устал! — кричу я. — Я на фронте и не такое пробовал.

— Мало ли что на фронте, — говорит Абношкин, — каждому делу привычка нужна…

А веялка тарахтит. Уже какая-то баба крутит ручку. И Маракушев засыпает зерно. Я поднимаю над головой совсем чужие руки.

Мы идем по спящей Васильевке. Говорить не хочется. Еще темно, но в окнах желтый свет колышется. И хлопают калитки.

Я не виноват, что не выдержал, привычки нет. Никто и не подтрунивает надо мной… Спокойно.

Когда я притащился к сеновалу, Виташа стоял под самым потолком.

— О, — сказал он, — ну-ка покидай, я покурю пока.

Я взобрался на гору пахучего сена, и чужими деревянными

руками схватил вилы, и от кого-то внизу принял первый вилок, и хотел было его поднять, но не выдержал и сел, широко расставив ноги… Виташа не видел. Он сидел внизу, покуривая. Потом он крикнул мне:

— Ладно, хватит. Слезай, покурим. Тут уж всё, последний. Я его потом сам кину.

Я устроился прямо на сене. Оно не показалось мне прохладным. Но тело словно пролилось на него.

— Я здесь посижу! — крикнул я сверху. И тут же словно провалился. И только издалека слышал неторопливый разговор.

— Все руки сбил, — сказал Виташа. — Такую гору первый раз один навалил.

— А он устал, — сказал Шулейкин, — без привычки трудно.

— Еще бы не трудно, — сказал Виташа. — Даже веялку крутить трудно без привычки.

— Я ему уроки переставлю, пусть подольше поспит, — сказал Шулейкин. И всё это обо мне.

* * *

Снег идет. Белый, как сахар, как вата, как бумага. Он белый, как бумага, на которой написаны эти слова, простые и таинственные: «…поздравляю вас с праздником. Ваша ученица».

Праздники давно прошли. Письмо опоздало. И почерк изменен. Это сразу видно. Он аккуратный ученический, девчачий, но изменен. И только характерная завитушка у буквы «а» осталась. И что-то беспомощное проглядывает из нее.

Мне не надо быть следопытом, чтобы не сбиться. Эта буква словно синий четкий след на белом снегу, по которому можно идти до самых дверей. Там высокое крыльцо, запорошенное снегом, дверь, плотная и отполированная временем. Там — сени, в которых бродит знакомый запах первого тепла, бедности и ожидания.

Снег идет. Скоро к келье моей не пробраться. Он идет, но след отчетливо синеет на его поверхности. И я не пойду по этому следу.

— В деревнях взрослеют рано, — говорит Маракушев. — Я сам женился, когда моей Евдокии шестнадцать было.

— А закон?

— Гы… гы…

— К чему вы об этом?

— Слухи ходят… гы…

— Сплетни…

— Да я ничего… слухи…

Снег идет. Темнеет рано. Он уже синий, этот снег. И след по нему черный. И эти слова: «Ваша ученица»… Ученица…

Чему я успел научить ее за несколько месяцев? Читать стихи нараспев?

— Багреева, почему ты в пол смотришь?

— Я не в пол.

— Смотри прямо, перед собой. Читай вот так:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей…

Вот так. Это вдохновенно надо читать.

— Я читаю…

— А у нас в программе этого нету, — говорит кто-то.

Программа? Откуда им известно это слово?! Это в программе, а это не в программе… Не выходите за рамки программы… Я ведь говорил, что учитель из меня не получится. Я не могу читать без конца «Я памятник себе воздвиг…» Я не воздвигал. Он тоже не воздвигал. Он шутил. Не делайте серьезных физиономий! А вам, чудаки, зачем эта программа? Учитесь говорить о любви вот так, в перерывах между школой и работой в хлеву. Торопитесь, нам немного отпущено.

— Давайте дополним программу, а? — смеюсь я.

А они молчат.

— Тот, кто составлял эту программу, никогда никого в жизни не любил…

Они молчат. И лица у них неподвижны. Но что-то все-таки теплится в глазах.

— Он был ханжа. Он думал, что он бессмертен, и не торопился…

— А что такое ханжа?

— Вера, неужели тебе не нравятся эти стихи?

Она торопливо проводит красными пальцами по отворотам пиджака, и с трудом поднимает голову, и смотрит на меня. Одно мгновение.

…Шулейкин говорит мне в учительской:

— Вы там, в классе, своевольничаете.

— Я хочу их разбудить…

— Скажите пожалуйста!

— Я хочу…

— А может быть, вам только кажется, что они спят?

…И снова:

Но пусть она вас больше не тревожит…

И красные пальцы замирают на груди. Теперь она смотрит в окно. Дрожат мохнатые ресницы.

Я не хочу печалить вас ничем.

А была ли счастлива та, кому посвящались эти стихи? Или она равнодушно тряхнула плечиком? Или словам нужно пожить и состариться, чтобы они приобрели смысл? Может быть, им стоило большого труда выкарабкаться из альбома и пойти по свету?

Снег идет.

— Зажгите лампу.

Меднолицые мои ученики плавно приближаются ко мне из полумрака классной комнаты. Ко мне, ко мне… Они плывут в бесшумных своих лодках, и красноватое пламя освещает их лица. И я, словно Бог, учу их простым словам, самым первым и самым значительным.

Ты проговори, Маша Калашкина, эти слова своему лохматому трактористу, когда он поведет тебя в клуб… Вот уж он удивится! Ты даже покажешься ему чужой на мгновение. А ты не теряйся, Маша, ты говори их, говори… И вдохновение на твоем некрасивом лице будет ярче, чем самая дорогая корона на голове безобразной королевы… Ты говори, Маша…

Ты станешь стройным и прекрасным, Ваня Цыганков, когда ты проговоришь это, и твои рыжие лохмы покажутся золотыми, и веснушки будут светиться, и толстые губы приобретут изящество и строгость. Даже в старых своих валенках ты будешь поражать совершенством.

Я тоже меднолиц. Мы из одного племени. Вера Багреева сидит в конце класса за своей маленькой партой. Платок сполз с ее головы. И каштановые ее волосы обнажились. Даже отсюда видно, как огромны ее глаза. И в каждом — по огоньку лампы.

— Так нельзя вести себя с учениками, — сказал Шулейкин, — так нельзя. Нельзя с ними запанибрата. Скоро они вас на «ты» начнут…

— Не начнут.

— Это распускает, — сказал Виташа.

— Ученик должен знать свое место, — сказал Маракушев.

— О чем вы беспокоитесь?

— Так нельзя, — сказал Шулейкин. — Вы человек неопытный, а я знаю.

— Да вы не беспокойтесь…

— Так нельзя.

— Не беспокойтесь…

— Так нельзя.

— Да что я, маленький?

— Гы… гы…

…Снег идет. Плывут ко мне мои меднолицые ученики. Это последний урок. А по дороге домой будет пахнуть снегом. То, что полагается узнавать всю жизнь, за один урок не узнать. И за год не узнать. А школа холодна, как склеп…

— Что там случилось?

— Багреева плачет, — говорит кто-то.

— Что случилось? — спрашиваю я громче.

Я иду меж партами. Жалкий огонек лампы, словно пес, бежит за мной следом. Тени мечутся по стене. Багреева уронила голову на руки.

— Что случилось?

— Она не говорит…

— Верк, а Верк, — говорит Маша Калашкина, — да ты что?

— Может, у нее чего болит? — шепчет губами Цыганков.

— Влюбилась, — смеется Абношкин.

— Иди ты! — оборачивается к нему Маша.

Я учитель. Я педагог. Я старший. А она плачет, Вера Багреева. Трясутся ее плечи. Сильно плачет и молча.

— Что случилось?.. Ну что?..

— Можно, она домой пойдет? — спрашивает Маша.

— Проводи ее, — говорю я.

Вера, не поднимая головы, натягивает тулупчик.

— Застегнись! — кричу я вслед.

Свет лампы бежит за ними до самых дверей. Потом он медленно возвращается на свое место.

Снег идет. Желтые хлопья ударяются о черное стекло.

Я вас любил безмолвно, безнадежно…

Когда-нибудь вы поймете, черт вас возьми, что это всё значит. И я слышу голос Маракушева.

— Гы… гы… — говорит он.

Ему торопиться некуда. Он любит историю. В его громадном теле есть место для всей истории. Но я жалею его. Сам не знаю почему, но жалею. Мне жалко этого громоздкого испуганного историка.

— А если выгонят? — спрашивает он.

— Да за что же?..

— Гы…

— Не может этого быть.

— Ну, сократят.

— Другое место найдется…

— А дом?.. Гы…

У него две кельи. Это его дом. С видом на речку Серену. И громадная керосиновая лампа. И кадушка с солониной в сенях. И тощая, похожая на старую корову, истеричная жена. И трое детей.

— Чего жалеть об этом доме? Сырость, теснота…

— Гы… Две комнаты, а?

— Да лучше уж в какой-нибудь городишко. Там хоть свет есть, в кино сходить можно…

— Это-то всё верно… А у меня здесь поросенок…

— Мясо купить можно…

— А купилка?.. Гы… Я своего осенью под нож — всю зиму щи с мясом. И картофель свой…

Щи с мясом — это хорошо. А у меня в келье — кастрюля вареного картофеля, и ничего больше.

— А нельзя у вас сала немного раздобыть? — спрашиваю я. — Пока в город выберусь…

— Грамм пятьсот смогу, — говорит Николай Терентьич, — пятнадцать рублей. Сало розовое.

— Что?

— Розовое.

Снег идет. Плачет Багреева Вера. Школьный колокольчик раскалывается от усердия. Вот сейчас звон прекратится, и трамвай тронется с места.

* * *

— Грязно-то у вас! — говорит Маша Калашкина. Она стоит на пороге. Холод плывет в комнату. — Хотите, я полы вымою?

— Что я, сам не могу?.. Ты двери закрывай.

— Женской руки вам не хватает.

И это она всерьез… И без хитрости… Это сразу видно.

— Я вымою вам, приберу, ладно? А деньги в получку отдадите, ладно?

Она подбирает юбку. Журчит и плещется вода. Отступает грязь, отступает… Резиночки фиолетовых штанишек виднеются.

— Как твой тракторист?

— Ничего… Любит меня. Сватается.

— Маша, трудно тебе живется?

— А не, мы хорошо живем. Папка-то мой стрижет всех. У нас парикмахера-то нету. И валенки кому подошьет, и галоши залить может. И я кому полы вымою, кому еще как помогу… у нас деньги всегда есть… Хотите, вам одолжу?

— Спасибо, у меня пока есть.

— Конечно, учителям хорошо платят.

Пахнет свежевымытым полом. И дрова горят в печи лучше. Тепло.

— А ты почему учишься плохо, а, Маш?

— У меня мозги такие… Меня и папка бил всё раньше… Верка вот Багреева способная… Сила…

— Чего она грустит всё?

— А влюбилась…

— Тоже в тракториста?

Она не отвечает. Постукивает мой будильник. Вот так штука! Кто же это? К кому подходишь ты, Вера Багреева, походкой балерины? Меня учили быть решительным, учили… В двадцать шесть лет пора бы уж, а?

— Влюбилась она, — говорит Маша.

Может быть, он на гармонике играет?.. Потом она нарожает ему детей… Будет стряпать… Белое тесто будет красными пальцами замешивать… на желтой доске… «Что это ты не улыбаешься, Вера Багреева?» — «А не с чего…» И Калашкина хороша! Лишь бы растрепаться.

— Когда тебя не любят, веселого-то мало, — говорит Маша.

— Не любит он ее?

— Не замечает.

— Другого найдет. Трактористов много.

— Не, она исплачется вся.

Исплачется… Позову ее… Книги предложу почитать… Пока будет выбирать, буду с нею разговаривать… Я сам виноват, она меня не знает… Вера, всё, что у меня есть, понимаешь?.. Всё, что у меня… Или я пойду сам туда, к ней… Поедем в Москву, а?.. Воистину: человек сложен, а поступки его примитивны. «Что вы…» — скажет она нараспев низким своим сопрано, по-цыгански. И будет красными пальцами, тонкими своими пальцами отвороты пиджака теребить…

— Она-то вообще не грустная, — говорит Маша.

— Ты что это всё на дверь смотришь?

— Я ничего…

— Там что, есть кто-нибудь, в коридоре?

— Не.

Уже давно в келье убрано, а она всё возится.

— Хватит дрова подкладывать. Жара.

— Грейтесь. — Она улыбается.

Хорошо, что природа не забыла дать ей эту улыбку! Ну что бы она без нее?!

— Бабы у нас в монастыре болтают, что вы пьете сильно.

— С чего это они?

— А я почем знаю.

— Я не пью, Маша.

— Они жалеют вас.

— Себя пусть жалеют.

— Верка пьяных не любит…

— Это она про меня, что ли?

— Что вы!..

— Ну кто там в коридоре?.. Может быть, кошка?

— А кто ее знает… Да вы сидите…. Я нервная стала.

И я словно вижу сквозь дверь: большая черная кошка медленно идет по темному коридору. Она ступает мягко, бесшумно, презрительно.

Дверь закрыта. Маши уже нет. За черными стеклами медленно поднимается луна. Она движется очень заметно. Она приближается. Я сижу боком к окну, но я хорошо вижу, как она плывет по зимнему ночному небу. Это я хорошо вижу. Бледный круг ее движется наискось через всё окно. Скоро он достигнет верхней планки. Это какой-то световой эффект.

Калашкина, всё шито у тебя белыми нитками. Ты — простофиля, Калашкина. А луна добирается до верхней планки и застывает неподвижно.

Слегка скосив глаза, я вижу это… Я отчетливо вижу сомкнутые ее губы, лоб… Я поворачиваю голову, и луна уносится в мировое пространство. И уже ничего нет, только черное стекло.

— Кто там?!

В коридоре тишина. На дверях Клары Ивановны — замок. Свежий наст у порога хрустит и потрескивает сам по себе.

— Эй!.. Эге-гей!..

Там, в поселке, — свежий наст. Я слышал его сытый скрип. Но нужно еще прожить ночь, чтобы наступило утро. И тогда снова — промерзший класс, и Вера теребит отвороты пиджака красными… Не буду ее вызывать! Пусть тревожится. Буду вызывать других. Потом она подойдет: «Почему вы меня не вызываете?» — «Вера, — скажу я, — ты взрослый человек. Ну сколько же можно в прятки играть?..» Ничего я ей не скажу… Завтра снова — учительская. Там некоторые меня недолюбливают: «Он кичится…» А некоторые равнодушны. А может быть, я не знаю их.

…Я иду с Верой днем мимо домов!.. Учитель чертов!..

— Разговоры всякие идут, — сказал мне вчера Шулейкин. И попытался обнять себя правой рукой, и посмотрел в меня маленькими глазками, и замолк, и притаился, пока я сам не расскажу…

— О чем это вы? — удивленно спросил я.

А рядом сидела Мария Филипповна, поджав губы, в красном пионерском галстуке, и тоже ждала, что я скажу, чтобы ринуться с проклятиями…

Я смотрел на Шулейкина, и молчал, и улыбался. Это его

всегда очень мучит. Ну же, Шулейкин! Смелей, смелей! Говори! У него даже уши зашевелились, как у гончей, когда она по следу идет. Смелее, Шулейкин… А сам молчу.

— Калашкина заходит к вам часто…

— Мы друзья с Машей.

— А знаете вы, на каком она счету?

— Что?!

— Я хочу предупредить вас, — он очень дружелюбен, — она девочка глупая… Ее засекали неоднократно…

— Как это — засекали?

Мария Филипповна засмеялась иронически.

Потом я спросил у Виташи:

— Послушай, что это Шулейкин плетет?

Виташа поплевал на пол:

— Шулейкин спал с ней. Потом скандал был. Потом замяли это дело… Она ему не дает теперь…

— А я-то при чем?

— А ты его класс ведешь теперь… У него все отличники они были… раньше, — он подмигнул мне, — а теперь? У тебя?..

— Какие же они отличники, когда элементарных вещей?..

— Вот то-то и оно-то… — И он засмеялся. — Теперь Шулейкин всем будет доказывать, какой ты плохой.

Скрипит свежий наст. Кончается воскресенье. И нет никакой луны…

* * *

На пороге класса стоит Виташа. Он — в своем неизменном офицерском кителе. Белые валенки — как ботфорты Петра Великого. А за его спиной покачивается круглое лицо Марии Филипповны.

Класс молчит. Ваня Цыганков смотрит на меня, приоткрыв рот, Саша Абношкин — прищурившись.

— Мы к вам на урок, — говорит Виташа. — Извините…

Ко мне на урок?.. Пожалуйста. Сделайте одолжение. Милости прошу, Виташа. Вы, как-никак, литератор. А вот почему пионервожатая должна контролировать урок литературы — не понимаю…

— Пожалуйста, — говорю я. — Последняя парта пустая. Устраивайтесь, пожалуйста.

— Извините, — говорит Мария Филипповна и закрывает за собой дверь.

— Пожалуйста, — говорю я.

Они на цыпочках, осторожно крадутся к последней парте.

Им нужно доказать, что я плох. Сбываются пророчества Виташи.

Ваня Цыганков смотрит им вслед, приоткрыв рот. Абношкин смотрит на меня, прищурившись. Ты злой человек, Абношкин. Ты будешь рад, если у меня что-нибудь не получится. Но ничего… Уж как-нибудь я справлюсь.

— Мы вот здесь будем сидеть, — говорит Виташа. — Вы не обращайте на нас внимания.

— Пожалуйста, — говорю я спокойно, даже равнодушно.

Я смотрю в классный журнал. Я вожу пальцем по фамилиям. Теперь главная задача — вызвать таких учеников, которые говорят свободно, без запинки. Они расскажут о Татьяне Лариной, о ее пристрастии к Руссо, о том, как она любит свой народ, и как она вообще незаурядна и прекрасна, и как жалка рядом с ней ее сестра Ольга, пустая и легкомысленная, похожая на нынешних городских девиц, потому что она любит одеваться и развлекаться, и рядом с ней Татьяна, натура богатая, мягкая, широкая, но решительная в нужный момент, собравшая в себе лучшие черты… Господи, какая скука!

Мария Филипповна застыла напряженно. Виташа приоткрывает один глаз и подмигивает мне незаметно.

Они — комиссия. Комиссии существуют для того, чтобы вскрыть недостатки в работе. Эти двое тоже призваны вскрыть недостатки. Мои. Если бы существовали комиссии по вскрытию достоинств!

Я должен вызвать лучшего ученика. И ты, комиссия, вздрогнешь от удивления и восторга, и ты разведешь руками и будешь везде и всегда говорить во всеуслышание, как хорошо, когда есть полное слияние интеллекта и чувств, методики и материала.

Комиссия — для того, чтобы вскрыть недостатки.

Я должен вызвать лучшего ученика.

Это похоже на игру «кто кого». Вечная игра. В нее играют взрослые и дети, играют мудрые и легкомысленные… Впрочем, легкомысленные играют в нее редко. Они не умеют заботиться о своем будущем, о своем престиже. А мне надо заботиться, мне надо расти.

У Марии Филипповны щеки горят от возбуждения. Может быть, ей хочется, чтобы я допустил промах? Не потому, что она относится ко мне плохо. Просто трудно уходить с пустыми руками. От волнения у нее белеют губы. Две белые полоски — на красном лице. Ее самолюбие похоже сейчас на раскаленную печь. Пионервожатой с семилетним образованием поручено вскрыть

мои недостатки. Это ли не шутка?

Я должен вызвать лучшего ученика. И комиссия знает об этом. Она не первый год играет в эту игру. Кому охота самому вскрыть свои недостатки? Смотрите на мои достижения! Не правда ли?..

Вот Коля Зимосадов — серьезный ученик. Сейчас он вам расскажет о Татьяне и цитаты приведет наизусть. Маленький и коренастый, в больших сапогах, он будет смотреть в твои настороженные глаза, комиссия, своими синими глазами, и он приведет тебя в изумление, и ты не сможешь ко мне придраться.

Лучшего ученика ждет и Виташа. Я знаю. Все учителя перед комиссиями вызывают лучших учеников. И все на белом свете поворачиваются друг к другу тем боком, который более совершенен. Может быть, считаные олухи не заботятся о том, как повернуться. Каждому хочется услышать в свой адрес приятное. И споров не хочу, и тяжб не хочу тоже. Не хочу доказывать свою правоту. Кому?! Не хочу подводить философские обоснования под каждый шаг свой. Это, наконец, унизительно.

Комиссия напряглась. Ждет. Тогда я швыряю им Колю Зимосадова. Подавитесь!.. Вы знали, что я вызову именно его. Тем лучше. Вот вы его и слушайте. Он говорит, что Татьяна Ларина — пленительный образ русской женщины… Прав он? Прав Коля Зимосадов? А как он говорит! Это я научил его так говорить. Расскажите об этом всем. Татьяна противопоставлена Онегину, человеку слабому и никчемному… Прав Коля Зимосадов?.. Ага!.. Потом, уже позже, Онегин поймет, как он ошибся, но — дудки… Величественная, как королева, и недоступная, как небо, Татьяна отвергнет его… Поняли? Так было, так есть и так будет… Господи, какая скука!

Коля Зимосадов никогда не ошибается. Он знает учебник почти наизусть и даже то, что напечатано мелким шрифтом. Комиссия, запиши в своем белом блокноте, как прекрасно, как гладко, как без сучка и задоринки, как благополучно протекает…

— Может быть, кто-нибудь хочет добавить? — спрашиваю я, хотя знаю, что добавлять-то нечего.

Но между мною и комиссией медленно поднимается широкая ладонь Абношкина! Она слегка покачивается, как очковая змея, а большой палец, желтый от табака, чуть оттопырен.

— Абношкин? — спрашиваю я.

— Да, — говорит он.

— Ну говори, — предлагаю я.

Что он может добавить? Еще раз утомительно и трудно будет пересказывать учебник? Или он тоже хочет меня увидеть побежденным?

— Не нравится мне Татьяна, — говорит Абношкин и смотрит на меня, прищурившись.

А Маша Калашкина толкает его в бок, смеется громко. И Ваня Цыганков присоединяется к ней. И уже весь класс смеется. И Мария Филипповна смеется, потому что Абношкину, видите ли, не нравится Татьяна Ларина! Пленительный образ русской женщины, самая яркая фигура в галерее образов, созданных великим русским поэтом Пушкиным. Не нравится… Абношкину…

Вера Багреева не смеется. Она смотрит в пол, словно смеются над нею.

А Саша Абношкин стоит, высоко подняв голову, и губы его кривятся и дрожат. Он всегда говорит что-нибудь неожиданное. Мне не следует удивляться. Он всегда петушится, этот паренек. Теперь ему не нравится Татьяна Ларина. Вот он стоит передо мной, и губы у него дрожат, и в глазах — злой огонек…

— Ты что, Абношкин? — спрашиваю я.

— Это он спросонок, — смеется Маша Калашкина.

Но Абношкин на нее не смотрит. Он стоит прямо. Комиссия, ты ждала чуда? Вот оно! Свершилось! Теперь мне следует выгнать этого распоясавшегося громилу из класса? Или позволить ему безнаказанно расправляться с самым дорогим? С привычным?

Абношкин волнуется, он не может говорить дальше.

— Ну же, — говорю я, — продолжай. Значит, Татьяна тебе не нравится? Да? Ну говори… Значит, Пушкин ошибся?

Комиссия смотрит на меня как на сумасшедшего. Мария Филипповна вожделенно глотает слюну: надо же — такое делается! А у меня захватывает дыхание. Так бывает, когда летишь с высокой горы на лыжах. И мне не страшно. Мне даже радостно.

— Ну же, Абношкин, — уже прошу я, — договаривай, если начал.

Абношкин встряхивает головой. Вера Багреева что-то шепчет ему, поглядывает в мою сторону.

— А она, — говорит Абношкин, — Онегина вроде любила, а с другим жила…

Сказал…

В классе тишина. А мне слышатся грохот и крики. И мне хочется кричать самому, словно с меня свалился нелепый и давний груз, но я сижу неподвижно и молча. С каменным лицом. Ай да Абношкин! Если бы ты знал, что ты сделал. Если бы ты знал, что происходит со мной.

И вдруг в тишине раздается отчетливый и тонкий смех. Смеется Мария Филипповна. Я смотрю на нее не очень доброжелательно, и она смолкает.

— Всё? — спрашиваю у Абношкина.

— Всё, — говорит он.

Класс молчит настороженно.

И вдруг я вижу, отчетливо вижу, как прямо через класс, размахивая черным зонтиком, скользит по проволоке Мария Филипповна. На ней красная блузка и желтая юбка. А Виташа по полу за ней и нелепо подпрыгивает и взмахивает руками. Его рыжий парик сбился на сторону, вымазанное красками лицо плачет…

— Извините, — говорит Мария Филипповна.

— Пожалуйста, — говорю я.

Я вижу всё это, и мне не страшно. Меня это не удивляет. И наверное, потому я говорю совершенно спокойно:

— Ничего смешного. Каждый имеет право на собственное мнение.

Класс шумно и с облегчением вздыхает. Маша Калашкина торжествующе смотрит на Марию Филипповну. Виташа улыбается и подмигивает мне уже откровенно.

— Что-то есть в том, что ты сказал, Абношкин, — говорю я. — Это даже интересно, то, что ты сказал. Вы подумайте над этим, — говорю я классу. — А тебе я поставлю пятерку, — говорю я Абношкину. — Просто это прекрасно, когда мозги работают по-своему.

И мне даже жаль становится Татьяну Ларину, которой произнесен приговор вот этим пареньком, а мною — подписан.

Мне жаль ее, словно она, живая, стоит передо мною и просит снисхождения, отсрочки. Для нее ведь это так неожиданно! Она привыкла к поклонению. Ну хоть несколько дней, чтобы пересмотреть пережитое.

А Саша Абношкин, как самый неумолимый судья, и бровью не ведет. Он как должное берет эту пятерку из моих рук, как леденцового петушка, купленного на честные деньги… и кладет его за щеку…

Мне очень радостно это видеть.

Теперь мне уже всё равно. Комиссия, я вышел из-под твоей опеки!

— Калашкина, — говорю я, — прошу!

Я вызываю ее к доске, как будто приглашаю к танцу. Она медленно и испуганно идет к моему столу и смотрит на меня с недоумением. Держись, Маша. Кто это выдумал, что нужно вызывать только лучших? Комиссия, ты еще не то увидишь!

Я распоясался.

— Судя по всему, урока-то не было, — говорит Шулейкин. — Так, Мария Филипповна?

— Так, — говорит Мария Филипповна, и губы у нее становятся белыми. — Уж такого я нипочем не ожидала.

— Вы, наверное, плохо к уроку готовитесь? — спрашивает меня Шулейкин.

— Бедный Пушкин, — говорит Мария Филипповна.

Она начинает тоненько хохотать.

— Что с вами? — спрашиваю я резко.

— А грубить не надо, — говорит мне Шулейкин.

Виташа молчит.

Они сидят вокруг меня, как кочевники вокруг костра. Словно они долго мерзли и теперь можно погреться.

— Вы записываете? — спрашивает Шулейкин у Марии Филипповны.

— А как же, Михаил Андреевич, — говорит она, — ну конечно… — и записывает. Ведет протокол.

— А что вы скажете об уроке, Виктор Павлович? — говорит Шулейкин.

— Что я скажу… — говорит Виташа и незаметно по-приятельски мне подмигивает. — Так уроки проводить нельзя, конечно… Всякую чепуху несут учащиеся. Их нужно направлять. А то сегодня им Пушкин не нравится, завтра Толстой…

— Правильно, — говорит Мария Филипповна. — А еще университет кончили! — говорит она радостно.

— Вы бы лучше на уроки литературы не посылали пионервожатых, — говорю я Шулейкину. — Делу от этого пользы нет.

— Вы так думаете? — улыбается Шулейкин.

— А вы не кичитесь, — говорит мне Мария Филипповна.

— Класс доведен до катастрофы, — говорит Шулейкин.

— Да, — говорит Виташа. — Теперь до конца года и не выправить.

— Кошмар какой-то, — говорит Мария Филипповна.

— Надо в облоно сообщать, — говорит Виташа, — доигрались.

И он тоже!..

Я встаю:

— Теперь мне остается сдать дела, наверное?

Как я могу объяснить им всё? Всё, что произошло? Всё, что произошло со мной и с ребятами? Что-то рухнуло, упало. Пыль и обломки. А поднять-то и некому.

— Это уже трусость, — говорит Шулейкин. — Надо не бежать, а бороться. Исправлять положение.

— Лучше мне уехать. Это не моя стихия — учительство. Я желаю вам всего лучшего. Я не сержусь на вас нисколько. Просто

мне показалось, что что-то мы делаем не так… Ничего я исправить не смогу, — говорю я.

— Нет таких крепостей, — говорит Виташа и смеется, поглядывая на Шулейкина.

— Не буду я ничего исправлять, потому что я ничего не портил.

Не может все-таки быть так, чтобы я был прав, а все не правы.

— Не можете — научим, не хотите — заставим, — смеется Шулейкин.

— Это вы серьезно?

— Что вы, что вы, — говорит он, уже не улыбаясь, — это же армейская поговорка.

…Виташа догоняет меня на улице:

— Абношкин-то, а? Мария Филипповна чуть не подавилась.

— А ты? — спрашиваю я.

— А что я? — говорит Виташа. — Что мне, с Шулейкиным спорить? Это ведь ничего не даст. Он за свое место держится будь здоров! Он спец других давить.

Большие валенки Виташи похожи на заношенные ботфорты Петра Великого.

* * *

Ночь.

Грипп, который душит меня, невысок и вкрадчив. Он весь в белом. Только кончики пальцев черны. И глаза у него горят неясным, тусклым пламенем.

Слышали ли вы рассказы о гриппозной иголке? Что-то кружится перед глазами, мягкое и ускользающее; кружится то медленно, то неистово; то становится почти микроскопическим, готовым вонзиться; то разрастается невероятно; и всё время слышится звук, похожий чем-то на беспрерывный злорадный хохоток, на вой ветра, на пение пчелы. Почему это названо иголкой, не знаю. Но в детстве я кричал сквозь бред: «Иголка!.. Иголка!..» — и старался укрыться от нее, и никто из взрослых не мог меня понять.

— Иголка!..

Ни на фронте, ни в госпитале она не возникала передо мной. А вот сейчас закружилась снова.

Я слышу ее почти забытый голосок и опять, как тогда, не могу ее разглядеть.

И вдруг из облачка, которым она окружена, проявляется лицо Шулейкина. Он смотрит на меня маленькими глазками.

— Здорово вас прихватило, — говорит он.

— Здорово, — говорю я. Шепчу. — Иголка, — говорю я.

— Давайте я вам полотенце на лоб мокрое… — говорит он.

— А-а-а, — говорю я, — полотенце на лоб?.. А потом пальцами за горло?..

Опять визжит иголка и устремляется в меня. Распухает, распухает… Холодное, мокрое ложится на лоб… И из этого вылезает Шулейкин. Он отряхивается от воды. Он пытается обнять себя правой рукой. Как это смешно…

— Зачем вы это делаете?.. Что это должно обозначать?

— Мокрое — это хорошо, — говорит он.

Я ведь не о том его спрашиваю.

Жужжит иголка, похожая на веретено.

— Сильно вы простудились, — говорит Шулейкин. — Надо одеваться потеплее…

— Все вы жулики, подделыватели оценок, — говорю я.

— Беречься надо, — говорит он. — У нас ведь врача не дозовешься…

— Вы меня подлогам учите?.. — спрашиваю я.

— Тут с врачами туго, — говорит он. — Это не Москва.

— А мы ведь налоги платим, — говорю я.

— Ну ладно, ладно, — говорит он, — при чем тут налоги?

— У нас ведь бесплатная медицинская помощь! — говорю я.

— Тсс, — говорит он.

— Вот я умираю, — говорю я, — и никому я не нужен. Разве это справедливо?

— От этого не умирают, — смеется он. Он смеется всё громче, всё громче, и смех его сливается с воем иголки, она уже совсем рядом… Сейчас!..

Я просыпаюсь.

Ночь.

Шулейкин ходит по келье. Он весь черный. Он ходит вкрадчиво, тихо, словно и не касается пола. Он что-то переставляет с места на место. Мне страшно и смешно.

— А вы откуда взялись?

— Спите, спите, — говорит он и спрашивает сам себя: — Разгорелся примус? — И сам себе отвечает женским голосом: — Еле разожгла черта!..

Я смеюсь. Он думает, что я сплю, и сам с собой разговаривает так странно.

Иголки нет. Прекрасно!.. Тишина.

— Клюквы хочется, — говорю я.

— А чтобы мама ладонь на лоб положила, не хочется? — спрашивает он.

— Хочется…

Он добр невыносимо!.. Мучил меня, мучил, а теперь добр.

— Да, в Москве всё это удобнее, — говорит он, — паровое отопление, телефон… Мне иногда хочется всё это бросить к черту — и туда. Серо мы живем…

— А здесь кто останется? — спрашиваю я.

— А гори оно всё! — говорит он и машет черной рукой. И снова, словно из-под подушки, выныривает иголка, и истошно орет, и, приплясывая, движется на меня.

— Иголка!..

Шулейкин наклоняется надо мной и клювом ударяет меня в лоб.

— Пошел прочь! — кричу я и просыпаюсь.

Ночь.

Шулейкин сидит над книгой, скрючившись.

— Зачем вы пришли?

— Вас нельзя одного оставлять… То да сё… Я тут почитаю…

— Почитаю… почитаю… — говорю я. — Почитай отца с матерью… — я смеюсь. — Вы ведь директор все-таки. Поручили бы уборщице не спать всю ночь.

— Да бросьте вы, ей-богу, директор… директор… Я — Мишка из-под сохи. Сегодня директор, а завтра — говновоз… А вам уже полегче стало… Это я вам две таблетки аспирина запихнул. Великое средство.

— А от геморроя оно помогает? — смеюсь я.

— Хорошо бы еще лимончик съесть, — говорит он.

— А вам в любви везет? — спрашиваю я.

— Одну любил, да она меня не любила, — говорит он.

— Только одну?

— Говорила, что дурак я, деревенщина… Вот так…

— Ну дальше, — говорю я. — Люблю трагедии.

— Какие там трагедии, — смеется он. — В жизни все проще, смешнее.

— Она красивая была?

— Казалась красивой… И вот она меня отвергла… За то, что я — серый деревенский кобелек… А она — городская интеллигентка, с образованием, через день в филармонии бывает…

— Ну, это еще не образование, — говорю я.

— …Да еще от меня казармой пахнет. Я тогда только что с фронта демобилизовался…

Теплый воздух в келье то сжимается, то разжимается, и, наверное, потому Шулейкин, как лодка, то проваливается куда-то, то взлетает… Смотреть больно. Я закрываю глаза.

— …Она надо мной посмеивается. «Хорошо, — говорю я, — я тебе покажу…» А у меня — восемь классов образования. Нос брюквой.

Он замолкает.

— Я не сплю, — говорю я. — Просто у меня глаза устали.

— …Тогда кругом голодно было. А у матушки моей — картофель. Я гружу его на подводу и — в Тулу. И — в институт педагогический. За аттестат зрелости на барахолке мешок отдаю. Два мешка — профессору привожу на дом. Он краснеет весь. Кричит на меня: «Это что, взятка? Взятка, да?!» А сам слюну глотает… «Да не взятка, — говорю я, — какая взятка? Вон у вас дети голодные, да и сами вы…» Одним словом, взял он картошку и заплакал… Вот так. После экзамен у меня принял… Куда ж ему деваться? И поступил я в институт.

— Эээ, — говорю я, — вот вы как всех облапошили.

— Это для начала, — говорит он, — потом всё своим горбом брал. Диплом в кармане. Возвращаюсь. А здесь — три учителя и два ученика. Да и учителя-то все липовые, без дипломов. Назначают меня директором. А я люблю рыбу ловить… Но я помню эту гражданку. И соглашаюсь быть директором.

— Интересно! — говорю я.

— Начинаю командовать. Мне смешно: я — Мишка из-под сохи — за картошку аттестат купил. Директором стал! Дают мне оклад. Покупаю я драповое пальто. Иду к ней… к той самой…

— Ааа, — говорю я, — интересно.

— Ничего интересного: дура дурой…

— И ничего? — спрашиваю я.

— Что — ничего? Ну, переспал я с ней… раз, другой… Ничего… Так вот и ничего. Смешно и скучно. И удрал обратно. Чуть было пальто драповое не оставил… Работаю. Привожу первые сведения по успеваемости в район. Одни двойки… Они — на меня! Угрозы… Я думаю, зачем мне это? Выгонят… Теперь снова за картошку не купишь, не то время… Собираю своих инвалидов и говорю им, что за двойки не с учеников, а с них спрашивать буду… Ну куда им деваться?.. Они ставят тройки… Им-то что? Всё идет прекрасно.

— А женщина та?

— А черт ее знает. Я ее не встречал больше.

— А мать Веры Багреевой?

Он сверлит меня своими маленькими глазками.

— Сплетни это, — говорит он.

— Говорят, что вы эту школу создали, — говорю я.

— Говорят, — смеется он.

— Это что, враки? — спрашиваю я.

— Может быть, и не враки, — смеется он.

Он куда-то вдруг проваливается. Потолок бесшумно обрушивается и заслоняет от меня всё.

И я просыпаюсь.

Ночь. Лампа еще светит. Шулейкин читает книгу. Нос его выступает из темноты розовым таким уголком.

— Мне сны снятся или это явь? — спрашиваю я.

— Сны, — говорит он. — Это бывает при гриппе… Реальные картины.

— Вы мне свою жизнь рассказывали, — говорю я.

— Теперь такой грипп свирепствует, азиатский, — говорит он.

— Значит, мать Веры Багреевой — это сплетни? — спрашиваю я.

Он кивает и смотрит на меня внимательно.

— Здесь сплетни любят, — говорю я.

— Конечно, место маленькое. Все на виду.

— И в учительской что ни скажи — сразу везде известно.

Он смеется, потом говорит:

— Анекдот вспомнил. Один жалуется. Безобразие, говорит, вчера одному человеку сказал: так твою мать, а сегодня уже весь город повторяет!..

Он смеется. Действительно смешно. Так твою мать — и весь город повторяет.

— Вы еще молоды, — вдруг говорит он. — В учительской не нужно особенно откровенничать. Люди ведь разные бывают…

— А что мне люди?

— Так, на всякий случай.

— Да плевал я на всё.

— Вы ведь говорили, что в нашем просвещении сплошные подлоги?

— Ну и говорил. Плевать мне…

— И что колхоз в Васильевке развалился?

— А что? — спрашиваю я. — Разве не так? Ну и что?

— Ничего, — говорит он.

— А, наплевать, — говорю я.

— Надо поосторожнее, — говорит он.

— А я ничего не говорил! — кричу я. — Не говорил…

И просыпаюсь. Утро. В келье никого нет. Солнце заглядывает в окно. Как хорошо, что весна наконец! И грипп меня оставил. Только слабость — руки не поднять.

Вдруг Вера Багреева зайдет навестить. А может быть, приснилось… А может быть, и не приснилось…

* * *

— Конечно, — говорит Маракушев, — без картошки мне нельзя. У меня четверо… Гы-гы… — И говорит Шулейкину благодушно: — Вот этот участочек мне подходит…

— Видите, как хорошо, — улыбается Шулейкин. — А в прошлом году вы все кричали…

— Гы-гы… — говорит Маракушев, — чего вспоминать…

— А вы помните, как в прошлом году кричали? — говорит Шулейкин.

— Ну, чего вспоминать, — говорит Маракушев. Шулейкин на плане участков делает пометки карандашом. Клара Ивановна записывает в блокноте.

— Мне бы вот этот участочек, — кто-то из учителей тычет пальцем в план.

— Вам ведь уже выделили, — говорит Мария Филипповна, и губы ее белеют.

— А мне бы вот этот, не этот, а вот этот…

— А у меня самый худший в прошлом году был, — смеется Виташа, — вот уж теперь я разговеюсь!

— А вам, Виктор Павлович, — говорит Шулейкин, — остается прошлогодний.

Картошка бессловесна? Это предрассудок. Виташа кричит. А перед моими глазами возникает желтоватое тело картофелины. Она таращит свой глазок. Кожура лохмотьями колышется на ее теле…

— Тише, — говорит Клара Ивановна и кивает на дверь учительской: — Там ведь учащиеся. Тише.

— Что тише? — говорит ей кто-то из учителей. — Себе лучший кусок забрали, а теперь — тише…

— Да с какой стати я опять ту же самую дрянь брать должен?! — кричит Виташа.

Он стоит у стола. Его растоптанные латаные валенки отбивают какой-то незнакомый танец.

— У меня тоже, разве это участок? — говорит Мария Филипповна словно сама себе. — Две березы посредине. Самый что ни на есть плохой участок…

— Давайте поменяемся, — говорит кто-то.

— А где у вас?

— У пруда…

— Ишь вы какой, — говорит Мария Филипповна. — Деловой какой!..

Шулейкин сидит, наклонив голову. Он делает вид, что углубился в план. У Клары Ивановны испуганное лицо.

Растерянная улыбочка дрожит на губах.

— Тише, — просит она, — ну как вам не стыдно!

Желтая картофелина отскакивает от одного к другому. С нее срывают последнюю одежду. Она размахивает руками, пытаясь отбиться.

— Дверь, — говорит Шулейкин. — Закройте же дверь!..

А меня это не касается. Меня это не касается… А картофелина (еще сырая, еще не родившаяся даже) кричит душераздирающе.

— Перестаньте кричать, — морщится Шулейкин.

— Да перестаньте же, — почти плачет Клара Ивановна.

— Вы же учитель, — говорит Шулейкин.

— А чего же вы несправедливости…

— Что?

— Несправедливую…

— Что?

— Да дайте договорить! — кричит Виташа.

— Ну договаривайте, — мягко говорит Шулейкин, — ну договаривайте, пожалуйста…

— Ну? — говорит Клара Ивановна.

— Да брось ты, — говорю я Виташе. — Из-за картошки какой-то…

— Как не стыдно, — говорит Маракушев.

— Ты-то уж молчал бы, — говорит ему Виташа. — Мне бы твой участок…

— Гы-гы, — говорит Маракушев и уходит из учительской.

— Не умеют себя вести, — говорит Мария Филипповна и уходит следом.

И все расходятся постепенно. Только Виташа остается и я.

— Ну ладно, — говорит Виташа, — я ему припомню. Я о нем кое-что знаю… Ну ладно…

А в дверь учительской заглядывает Саша Абношкин.

— А тебе-то еще чего? — поворачивается к нему Виташа.

— А я не к вам, — говорит Саша.

И это как плевок. А мне хочется рассмеяться.

— Ты давно здесь стоишь? — спрашиваю Абношкина.

— Нет, — говорит он и краснеет.

И иду к нему туда, в коридор. Я ухожу совсем далеко. Но всё маячит перед моими глазами распростертая картофелина в изодранной кожуре…

* * *

Нас подобралась прелестная компания: председатель колхоза Абношкин, Шулейкин, Виташа, Мария Филипповна и я…

Мы идем на заём подписывать!.. Был я студентом, был я черт знает чем… Теперь включили меня в комиссию.

— Как это — чего тебе делать? — говорит председатель Абношкин. — Мы, стало быть, идем по избам… Все… Ну, стало быть, заходим…

— Да что он, не знает, как на заём подписывать? — говорит Виташа.

— Надо научить человека, — мягко говорит Шулейкин.

— Вы знаете, — говорит Мария Филипповна, — это очень просто. Значит, так…

— Да бросьте вы, ей-богу! — смеется Виташа. — Он вас разыгрывает, а вы…

— Я не разыгрываю, — говорю я.

— Послушай, — говорит Абношкин, — пойдешь — всё увидишь, как и чего. Надо, главное, чтобы все побольше подписали.

— Ну, у нас все сознательные, — говорит Мария Филипповна белыми губами.

Шулейкин подбородок теребит. Виташа на дорогу сплевывает.

— А может быть так, что не захочет кто-нибудь? — спрашиваю я.

— Ну что вы, — говорит Мария Филипповна, — мы же не себе собираем…

— Ну, а если?

— Вот, ей-богу, сколько вопросов! — смеется Виташа. — Ты-то сам подписался?

— Люди ведь понимают, на что они деньги дают, — мягко говорит Шулейкин.

А впереди — Васильевка. Чернеют ее избы… Сейчас мы перебираемся через овраг, потом узкой тропинкой между двумя усадьбами — и улица… Я член комиссии. Мне, наверное, придется молчать. Мне, наверное, придется молчать, потому что ну что я скажу? Они это делают не впервые… Хорошо, я буду молчать. Я погляжу на них, как они это делают.

Нюра Осипова открывает нам дверь, а сама уходит в избу. Даже не здоровается. И мы молча идем за ней. У нее там ребенок по полу ползает. Маленький мальчик в ситцевой рубашке. Красный ситец с белыми рыбками.

— Ах ты, маленький, — говорит Мария Филипповна, — иди-ка сюда, иди-ка…

— Он ходить не может, — говорит от печки Нюра.

— Что ж это ты, молодой человек? — спрашивает Шулейкин. Он пальцем щекочет мальчика за ухом. Мальчику смешно. Он смеется беззубым ртом. Тянется к Шулейкину. И белые рыбки начинают плескаться в красном море…

— Ну вот, Нюра… — говорит Абношкин.

— Чего — ну вот? — говорит Нюра. — Мне давать нечего. Вот сам вернется, тогда… А мне нечего.

— А где он? — спрашивает Виташа.

— В город поехал… За сахаром, — говорит Нюра. А сама не отходит от печки. Тулупчик на плечах. Босые ноги в валенках.

— Ее муж, — говорит мне Шулейкин, — столяр. Первоклассный.

— Ты вот что, Нюра, — говорит Абношкин, тяжело дыша, — ты сама… Его ждать нам некогда. Хозяйка-то ты ведь?

— И чего вы с самого утра навалились?! — говорит Нюра. А лицо у нее молодое, некрасивое. Очень широкие скулы.

— Как вам не стыдно! — говорю я. — Мы все подписываемся. Мы же не себе это. Это для всех. Для всего народа.

— Стыдить ее не надо, — говорит Абношкин. — Она сама про всё это знает.

— Нюра — человек сознательный, — бодро улыбается Мария Филипповна. Но губы у нее белеют.

Нюра берет мальчика на руки.

— Меня стыдить нечего, — говорит она. — Сами б постыдились!

— Ты, Нюра, подпишись, — говорит Абношкин, тяжело дыша, — вот здесь…

Нюра смотрит в ведомость. Мальчик смотрит на меня. Шулейкин смотрит на Нюру, и Мария Филипповна смотрит на Нюру, и Виташа…

— Нет, — говорит Нюра, — пятьдесят не подпишу. На тридцать подпишу, а на пятьдесят — нет.

— Ты, Нюрочка, давай, давай, — подмигивает ей Мария Филипповна.

— Нет, — говорит Нюра, — на тридцать подпишу…

А мальчик вертится у нее на руках, и белые рыбки плывут куда-то за спину… Мы выходим на улицу.

— Вот кулачка-то!.. — говорю я.

— Какая же она кулачка? — говорит Виташа.

— Пять человек ее уговаривают, а она…

— Когда жрать нечего, не пощедришься, — говорит он шепотом. И оглядывается на остальных. Но остальные не слышат. — У них колхоз с войны всё не оправится…

Мы идем по Васильевке. От дома к дому. Абношкина совсем

одышка замучила. Он идет всё медленнее. Все молчат. Не очень это веселое дело — ходить вот так по дворам.

— Словно побираемся, — говорю я Виташе.

— Тшшш… — Он оглядывается. — Ты что, ополоумел?

Мы поднимаемся на крыльцо. И тотчас дверь распахивается.

— Здорово, Настасья, — сопит Абношкин.

— Здорово, старый черт, — говорит Настасья и ведет нас в избу. — Всё ходишь? Всё в карманы глядишь?

— Да что вы, Настасья Иванна, — говорит Мария Филипповна, — не надо его обижать.

— Ты бы уж помолчала, пионерка брюхатая! — говорит ей Настасья.

Она стоит перед нами, маленькая, смуглая, давно уже не молодая. Руки на груди сложены…

Мария Филипповна стоит красная вся. Действительно, живот уже заметно выпирает из-под пальто. И красный пионерский галстук выбился на воротник…

— Умора, — шепчет мне Виташа, — пионерка беременная…

— Ты, стало быть, Настасья, знаешь, зачем мы к тебе? — говорит Абношкин.

— Уж мне ли не знать, — говорит Настасья. — Первый раз, что ли, ты ко мне, старый черт, приходишь? Партизан…

Абношкин садится к столу. Расправляет ведомость.

— Ну что я тебе платить буду? — говорит Настасья. — Ты подумал?

— Надо, Настя. Подпишись, и всё тут.

— А в сорок первом, когда я тебя, раненого, прятала, ты в глаза смотрел, — говорит Настасья, — а теперь-то не глядишь…

— Ну ладно, ладно, — бормочет Абношкин.

— Стыдно тебе, да?

— Ты подписывай, — говорит Абношкин, и толстое его лицо словно плачет.

Она подписывает, не глядя на лист.

…Мы прошли уже по двадцати избам. Скоро и конец. Я иду по Васильевке, а лица, лица, лица мелькают передо мной… и пальцы, которые коряво держат ручки, и желтая помятая ведомость, по которой эти ручки бегут неохотно.

Мы стоим на крыльце предпоследнего дома. Это маленький дом. В два окна.

— Вот сейчас будет, — говорит Виташа.

— Чего вы смеетесь, Виктор Павлович? — горько говорит Шулейкин.

— Ничего, мы старую уломаем, — говорит Мария Филипповна.

А Абношкин тяжело дышит, со свистом, и молчит. И я молчу.

Потом открывается дверь, и уже в избе я замечаю хозяйку. Она как грибок маленький, сморщенный.

А у окна стоит мой ученик — Ваня Цыганков. Толстые губы его отвисли. Рыжие вихры разлетаются в разные стороны. Он покачивается на длинных своих ногах, как на ходулях.

— В гости пришел, Ваня? — спрашиваю я.

— А не, — говорит он.

— По делу?

— Я живу здесь, — говорит он.

— Он с бабкой живет, — говорит мне Виташа, — это бабушка его.

А бабушка подходит ко мне.

— Вы, деточка, учитель Ванин? — говорит она. — Он всё про вас рассказывает, любит он вас… — Потом она поворачивается к Шулейкину: — И директора он любит… Всё старается, старается угодить… Ваня-то… Он сирота ведь…

— Тимофеевна, — говорит Абношкин трудно, — на-ка вот, подпишись.

— Что, что ты, деточка, — говорит бабка, — я ж неграмотная.

— Всякий год подписываешься, а тут неграмотная? — говорит Абношкин и пальцем по столу постукивает.

— Вы подпишитесь, Анисья Тимофеевна, — говорит Мария Филипповна, — не первый уж раз.

— Да что ты, деточка!.. — торопится бабка. — Из чего подписывать-то? Мне ведь сироту кормить! Что ты, миленькая…

Врет?.. Притворяется?.. Что это происходит?..

— Какой позор, — говорю я Виташе.

— Тшшшш… Ты потише, — говорит он и оглядывается. Но все заняты бабкой.

И тут вдруг срывается со своего места Ваня Цыганков, натягивает на ходу шапку и бежит к двери.

— Они все по домам сидят… Не работают, что ли? Что это у них ничего нет? Что это за колхоз такой?.. Или врут они все?..

— Тшшшш…

— Ну, яички дам… — говорит бабка, — а денег нечто я наберу?..

— Давай, ладно, — говорит Абношкин, — по тридцать в месяц…

— Да что, деточка!..

— Анисья Тимофеевна, ведь на эти деньги, — мягко говорит Шулейкин, — мы заводов настроим, больниц…

Я вспоминаю: она приходила ко мне в келью несколько раз. Я у нее яйца покупал. Она приносила их в лукошке и синими

сморщенными пальчиками отсчитывала их. Я помню.

А в классе спрашиваю у Вани Цыганкова:

— Что это ты в резиновых сапогах ходишь? Холодно ведь.

— А он закаляется, — посмеивается Абношкин-сын.

Вот тебе и закаляется…

— Я ведь, деточка, яички продам… Мы с Ваней и проживем… Разве могу я больше-то вам отдать?.. — говорит бабка и подписывает ведомость.

Теперь дом Веры Багреевой.

Но тут всё происходит очень просто. Мы подходим к крыльцу. А на крыльце уже стоит прекрасная, как богиня, мать Веры.

— Давайте сюда, — говорит она цыганским голосом и протягивает руку Абношкину. Он дает ей ведомость. Она подписывает ее быстро, размашисто. Возвращает ему.

— Спасибо, — сопит Абношкин.

— Может, вы нас все-таки в дом пригласите? — спрашивает Шулейкин.

— Как ваши детишки поживают? — спрашивает Мария Филипповна белыми губами.

— А зачем в дом? — спрашивает мать Веры так, что хочется уйти поскорее.

Остается последний дом. Он на самом краю. Мы подходим к крыльцу и останавливаемся. На крыльце стоит молодая женщина с ребенком на руках. Рядом с ней — две белобрысые девочки. А чуть впереди — молодой мужчина в гимнастерке, и в руке у него топор, словно он дрова поколоть собрался.

— Здравствуйте, друзья, — говорит Мария Филипповна.

Они молчат.

— Эх, беда мне с вами, — хрипит Абношкин. — Ну чего ты, Коля? Чего? Впервой, что ли? — А сам глаза отводит.

— А что, председатель, — говорит Коля спокойно, — я сейчас вот их всех порешу, — и показывает на свою семью, — а посля за вас примусь…

— Хулиганство какое, — шепчет Мария Филипповна.

— Партизанский сын, — подобострастно смеется Виташа.

— Вот он весь как есть, — говорит Коля.

— Ну ладно, Николай, — говорит Абношкин, — выходит, мы с тобой после поговорим. Другие вон все подписались…

Мы уходим в поселок.

— Ладно, — хрипит Абношкин, — идите, схожу коровник посмотрю.

— Почему это одни женщины в избах? — спрашиваю я Виташу.

— Или войны не было? — спрашивает меня Абношкин.

Мы идем молча.

Вдруг что-то, похожее на резкий трамвайный звонок, прокатывается над Васильевкой… Когда мне исполнилось пять лет, я сел в трамвай, проехал одну остановку по Арбату и очутился на Смоленской площади. Я вышел в незнакомом мире. Было страшно. Мой трамвай, гремя и позванивая, ушел куда-то в небытие. И уже другие вагоны сновали вокруг так, что дух захватывало… Я вскарабкался в обратный вагон и вернулся к дому. И так я стал поступать ежедневно и знал уже все дома на Арбате между Смоленской площадью и Плотниковым переулком. И была весна, солнце, радость путешествия… А красный трамвай был моим личным экипажем, моим кораблем, моим танком, поездом дальнего следования. И я трясся в нем, прижатый пассажирами к дальней стене площадки, и пытался пошевелиться, но не мог и не вышел на Смоленской площади, а трамвай ринулся дальше… Куда-то… Все кончилось. Я не плакал. Я сошел на следующей остановке. Вокруг простирался незнакомый мир. Он назывался Плющиха. Куда я попал?.. И я заплакал. Ах, как страшно было потеряться! Я не верил в спасение. Но оказалось, что даже отсюда трамваи возвращаются обратно. И я втиснулся в вагон, и он понес меня со звоном, с громом и молниями мимо домов и прохожих и высадил возле самого моего дома! Я стоял оглушенный, а он умчался дальше — спасать кого-то другого. И другие красные трамваи, добрые и надежные, бежали мимо меня. И я понял, что они не могут погубить, что они всегда вернут тебя к твоему дому…

Вечером собираемся в учительской. Приехал инструктор из района. У него усталое, небритое лицо туберкулезника.

— Ну, как у вас? — спрашивает он у Шулейкина.

— У нас очень хорошо, — говорит Мария Филипповна, — все как один… Все ведь понимают, не первый год…

— В прошлом году сумма-то больше была, — говорит инструктор, поглядывая в ведомость.

— Трудно, — говорит Шулейкин, поглядывая в окно.

— Там ведь ни одного почти мужчины нет, — говорю я, — неужели никто об этом не думает?..

Виташа толкает меня в бок.

— Мы знаем об этом, — говорит инструктор.

— Пошли бы сами, посмотрели бы, что там творится… — говорю я, — позор просто…

— Вы напрасно горячитесь, — говорит мне Мария Филипповна, и губы ее белеют, — товарищ инструктор не мог ведь… Он доложит кому следует…

* * *

— Вот так мы и живем, — говорит председатель Абношкин, тяжело дыша. — Садитесь. Ну хоть сюда вот… — Он усаживает меня на красный облупленный табурет. — Сашки дома нету… — Он говорит с трудом. В груди у него хрипит что-то. — Поговорим… Ты ведь поговорить пришел?

— Поговорить.

— Ну и ладно, поговорим. Может, выпьешь?.. Ну, не надо…

— А у вас всё заботы?

— Заботы, они всегда, — хрипит он. — Без забот разве жизнь бывает? Это и хорошо, что заботы. Вот только до сына рук не дотяну… Плох он, наверное?

— Саша ваш? Нет, он хорошо учится. Он такой самостоятельный.

— Ишь ты… Строптив?

— Бывает, что и строптив… Разве это плохо?

— Ишь ты, — посмеивается он. — Разве хорошо? — И, помолчав: — Попробовал ты крестьянской работы? Ну как она?

На его мясистом, красном лице — хитроватая улыбочка. Он думает: я сейчас плакаться начну. Сейчас он будет говорить, что не посеешь — не пожнешь, что городу без деревни не прожить. «Хлеб!» — скажет он многозначительно.

— Скучища у нас, а? — говорит он.

— Это есть.

— Ты бы организовал чего-нибудь, учитель.

— А Шулейкин?

— А чего Шулейкин? Мишка на директорстве своем запутался. Все ведь смеются. Он человек темный. Дела своего не знает.

— А вот вы сельское хозяйство знаете?

— Я знаю, — хрипит он. — Давай по маленькой? Нет? Ишь ты…

— Что же колхоз ваш скрипит?

Он тяжело дышит и смотрит в окно. Там быстро сумерки густеют. От печки тянет кислым чем-то. Я смотрю ему в глаза. Они громадны и печальны.

Он садится напротив. Подпирает голову широкой ладонью. И молчит.

Он симпатичен мне, этот человек. И убогая его изба не кажется мне убогой. Это ведь прекрасно, когда человек задумывается, пусть даже печально. Тогда его лицо словно освещается, и ты видишь, как оно удивительно со всем, что на нем имеется.

— Понимаешь, парень, — хрипит Абношкин, — я бы тебе сказал, как оно всё получается… Да откуда я знаю, кто ты есть? Поймешь ли?

— Я пойму.

Он вертит косматой головой с сомнением:

— Хочешь понять, да не поймешь… Не поймешь.

— Пойму. Что я, идиот, что ли?

— Я сам всего понять не могу… Думаю. По ночам проснусь — а вот здесь схватывает, — он тычет толстым пальцем в темя, — и никуда не денешься… Мокрую тряпочку прикладываю. Говорят, помогает… — Он смеется невесело. — Так это ж голова… На заботы мокрой тряпочки не положишь ведь, а?

Потом он зажигает лампу. И она стоит, как часовой, на самом краешке стола, вытянув свою длинную шею. И большая тень Абношкина медленно шевелится на стене, и хрипит, и стонет. И изба становится похожей на учительскую: там тоже одинокая лампа по вечерам замирает на краю стола.

— Могу тебе ответить, как положено, — хрипит он, — мол, была война… Вот и трудно…

— Это я и без вас знаю.

Он тяжело смеется:

— Это-то ты знаешь, а чего дальше — не знаешь.

— Вот и пришел, чтобы узнать. Ребята ведь спрашивают.

— Нет, этого тебе не понять. Это надо жизнь прожить.

— Живу…

— И живи. Ты человек хороший. Ребята тебя уважают… — И опять после паузы: — А у меня домашняя есть… Высший сорт… А?

— За что же они уважают, когда я ничего сказать не могу?

— Да это они без тебя разберутся. Ты их произведениям всяким учи, стихам, в город их в театр свози… Ну что, по маленькой?.. Несговорчивый ты какой…

Он мне очень симпатичен, этот Абношкин. Как это раньше я мимо проходил? Почему не бывал в этой избе, не сидел на этом красном табурете?

— Гости идут, — хрипит он. — Теперь не миновать разговеться.

Кто-то скрипит дверью, идет через сени.

— Да, — говорит Абношкин, — заходи… Я думал, мужик идет…

Мать Веры, слегка кивнув мне, подплывает к столу.

— Ваших нету, председатель? — низким голосом, по-цыгански спрашивает она. — Нету, да? Жаль. Хотела кое-чего из посуды взять. — Голос ее становится вкрадчивее и тише: —

Кажется, Верку сватать приехали. Не пойму что-то… — Она смотрит на меня пристально. Глаза у нее такие же, как у дочери. Только Вера смотрит вниз… Да, вниз…

— Событие, — говорю я спокойно.

— Дождалась, — как-то слишком громко говорит Абношкин. — А Верка-то нарядилась?

— Нарядилась, нарядилась, — смеется мать и смотрит на меня.

— А Шулейкин, дружок твой, пришел?

— Пришел, пришел, а как же, — говорит мать. — Может, и ты зайдешь поглядишь. Да у тебя самого гости.

— Ты бери из посуды сама чего, — говорит Абношкин. — У меня гость.

— А вы идите, — говорю я. — А я по своим делам пойду.

— Посидим, посидим, — хрипит он, — и без нас справятся…

Всё происходит мгновенно: тарелки гремят, дверь хлопает… Событие! Разве меня это касается?.. Но почему кто-то другой?.. Да разве меня это касается?.. Я же не влюблен… Ах, просто странно: почему кто-то другой!.. Да разве меня это касается?.. Надо мною же смеяться будут там, в Москве… А может, пойти туда и спокойно, как Печорин: «Вера, я пришел за тобой…»

— Что-то она темнит, — хрипит Абношкин, — какие еще сваты? Она женщина железная. На порог-то пускает не каждого. Того и гляди ухватом сработает. Темнит… И слуху такого раньше не было.

…И вот я говорю это. В комнате молчание. Гости смотрят на меня с ужасом. Мать Веры с грохотом отодвигает стул и выходит из комнаты прочь. А Вера вдруг, такая тоненькая, в черном платье с широким вырезом, и высокая, зажмурившись, словно слепая, шаря руками, идет в мою сторону. Плавно идет, едва касаясь пола носками туфель.

— Нет! — кричит главный сват.

Но она идет, идет. Я кладу ей на плечо руку.

— Что же это такое?! — кричат гости.

— Пойдем отсюда, — говорит она сухими губами. И плечо ее горячее…

— Ты всё обдумала, Вера?

Она уводит меня из избы. И там, на улице, обняв меня, прижавшись всем телом, с благодарностью:

— Хочешь, я тебе правду скажу?

— Ну…

— Я знала, что ты придешь… Хоть и говорили все, что не ровня я тебе, чтоб не ждала…

— Чепуха это, не ровня!..

…Никто меня не ждет. Может быть, ее уже сосватали?.. Да разве меня это касается?.. Может быть, она и правда ждет меня?.. Никто меня не ждет… Всё идет своим чередом. Спокойно. Ничего непредвиденного не произойдет. Я буду ночевать в своей келье как миленький… Да…

— Темнит она что-то, — хрипит Абношкин, — ну да, темнит… — он вдруг тяжело встает, и лампа начинает покачиваться. — Верка-то с моими в Козельск на базар поехала!.. Ах ты, паралик тебя расшиби! Я ж говорю, темнит.

— А отца у нее нету, — слишком радостно говорю я.

Он садится на свое место. Долго молчит. С трудом дышит. Большая его грудь с клокотанием вздымается и оседает.

— Отец ее до войны в райкоме работал. Вредителем оказался… Видишь как…

— А Шулейкин, значит, тут как тут?

— Он от нее не отступился. Вот как. Не отступился. Понимаешь, как оно… Помогает ей. Верке — тоже. В войну помогал…

— А говорят, он…

— Да это все говорят! — хрипит он яростно.

Он снова встает и начинает тяжело, как медведь, ходить по избе:

— Тяжело мне, черт! Будто воды в меня налили.

Неладное с ним что-то.

— Ты видал осенью, какие луга у нас? — вдруг спрашивает он. — Видал, травки сколько?

— Видал, — говорю я.

— Ага… А скот с голоду ложится… Ну?

— Ну?..

— А к Семеновым нынче зашел, а ребятишки кисель картофельный хлебают. Из крахмала. А я зашел и говорю: давайте, отец и мать, на работу. Что это вы, мол, расселись, а?

— Да?

— А с Васькой Семеновым мы вот здесь в партизанах ходили. Вот на этом самом месте… И по Смоленщине…

— А вы бы плюнули на это… Поехали бы полечились.

— Ишь ты, — хрипит он. — Это ты можешь плюнуть, а мне нельзя. Это же мое всё кругом. А?

Лампа отчаянно борется с темнотой. Она как маленький стеклянный донкихотик. Разве ей справиться?

Абношкин подходит к полке, отодвигает марлевую занавесочку:

— Ну что, по маленькой?

— Нет, спасибо…

Жаль его обижать, да неудобно как-то сейчас пить.

— Ребята затеяли столбы ставить, свет проводить, — говорит он.

— Слышал, — говорю я.

— Столбы я дам, — хрипит он. — И ты будешь?

— Буду, — говорю я.

Он мне кажется очень большим, этот председатель. Он до конца не раскрылся. Он велик, как вся Васильевка. Но что-то с ним неладное происходит. Это я вижу по его глазам.

— Вы песни любите?

— Было, было, а как же, — хрипит он. — Самый заводила был.

Мне хочется погладить его по щеке. Хочется посентиментальничать. Но я креплюсь. И воспоминания собственные делают меня (на один час хотя бы) суровее и строже. Я был солдатом. Я воевал. Я!.. Я многое успел уже попробовать. И он воевал… Мне хочется говорить с хрипотцой, встать перед ним с распахнутым воротом, сказать: «Вот так, брат Иван…» — и, попрощавшись, выйти и услышать вслед калужское «до свиданьица», теплое, как парное молоко.

— Туман какой-то, — говорит Абношкин, — с глазами что-то. Вот в двадцать первом было ой как худо кругом, а здоровья хватало… В войну — и говорить нечего, а не жаловался… Машину за передок поднимал будь здоров. И видел всё. Далече. Вот — я, а вон — мироед… И в войну: вот — я, а вон фриц… Поистрепался, ну что ты скажешь?! Вот беда… Может, пропустим, а?

— А давайте, — говорю я.

И потом, опрокинув стопочку и прокашлявшись, он говорит:

— Голод был на Волге в двадцать первом ужас какой… А нас у самих вот-вот… Мы, значит, комсомолия голожопая, ну чего делать? Чем помогать?.. Где чего возьмешь?.. А ну, ребята, айда побираться! Братья с голоду пухнут! Наши!.. Вот, значит, ходим по дворам, просим. Кто что дает… Разжалобить ведь тоже уметь надо, а как же… Ну, значит, дают. Ну, там горсть проса, корочку, огурец соленый, лепешку. Так до вечера ходим с торбами. Вечером в общую торбу сыплем. И опять с утра понеслись. По всему уезду три подводы собрали… Скорей, скорей!.. Ребятишки мрут!.. Собрали и в Калугу. Вот скрипят наши возы, а мы — рядом. От мешков едой пахнет, а у нас ноги от голода не идут… А никто ни крошечки ни махонькой не берет. Агитировать не надо было. Видишь как…

Он долго и с трудом кашляет. Потом молчит. Смотрит в темные окна большими своими глазами.

— Ну, давай еще по одной?

— А давайте. За вас…

— А это всё равно, — хрипит он. — Наши чего-то запаздывают… Может, в кино зашли… Я вот прошлым летом картину смотрел. Такую жизнь хорошую показывали. Колхоз тоже какой-то… — он смотрит на меня, прищурившись, земля у них лучше, что ли?.. Или, может, климат такой подходящий, а? Ты как думаешь?

Неладное с ним что-то.

— Не знаю, — говорю я. — Может, и климат. Я этой картины не видел.

Потрескивает огонек в лампе. Словно она рассказывает что-то. А что, никак я понять не могу. Слов расслышать не умею.

— До света тоже руки вот еще не дотянулись, — говорит Абношкин и смотрит на лампу. — Мужиков мало…

— А Вере, наверное, и в самом деле замуж пора, — говорю я.

— Приглянулась она тебе?

— Ну что вы!

— А что ж? Она красивая, скромная. Тут за ней один инспектор молодой бегал, — он смеется с натугой, — потом узнал про нее: батюшки, отец — вредитель. И всё. Кому охота с пятном-то ходить. Верно?

— Неверно, — говорю я.

— Ну, как знаешь, — хрипит он и смотрит на меня с прищуром, словно изучает.

Ладно, Абношкин, я ведь не ребенок. Нечего меня изучать. Я не из пугливых. Нечего…

— Только ты учителей-то ваших не соблазнишь столбы копать, — говорит он.

— Почему это?

— Они свое любят… А бесплатно-то копать…

— Что же, я один буду? — говорю я. — На черта мне…

— А это как хочешь… — хрипит он. — Ты огурчика возьми. Они в самый раз. Бодрые…

И большой огурец с хрустом исчезает в его губах, больших, мягких и медленных.

* * *

Вечер. Мы с Виташей идем на педсовет. В учительскую. Это будет знаменитый педсовет.

— Сейчас Шулейкин с тобой счеты сведет, — смеется Виташа. — Он давно готовится. Он это умеет.

Пришла пора. Я знаю. Я чувствовал приближение грозы. То бьет, то ласкает. Неспокойно ему со мной.

— Потягаемся, — говорю я спокойно.

Он смеется.

— А ты, Виктор Павлович, как раз и припомнишь ему всё, да? Припомнишь? — говорю я. — Ты ведь помнишь, как в драку рвался?

Он смеется. Потом говорит:

— Ладно, не горюй. Одна голова — хорошо, а две — лучше. Что-нибудь придумаем.

— Смотри, — говорю я.

Он смеется:

— Ладно, ладно. У нас тоже свои принципы.

А в учительской, как всегда, все уже расселись. Шулейкин отдает последние распоряжения. Вот сейчас наш корабль отвалит от причала и уйдет в неизвестность. Он стар, этот корабль. Корпус его скрипит. Ржавчина его изъела. Лишь краска свежа на его бортах и дыры аккуратно заткнуты тряпочками; хоть и тряпочками, а заткнуты… Но чего-то все-таки не хватает… Не пойму чего. Уж очень тихо все сидят. И лица у всех немного вытянуты.

Виташа подталкивает меня в бок. Я вижу: в углу сидит заведующий районо Петунин. Маленький круглый человечек с наголо обритой головой.

Я здороваюсь с ним. Он кивает мне едва-едва. Ну вот. Меня будут бить по всем правилам и в присутствии начальства. Крикнуть, что ли: «Э-э-эх!.. Да ну вас всех к черту» — и уйти?.. Это им важно запротоколировать комедию. А мне она не нужна… Мне самолюбие дороже. Я не жулик…

Мы садимся с Виташей у печки. Две лампы льют желтый, трусоватый свет. Курить можно. И уже дышать нечем. Что же дальше-то будет?..

Идет педсовет. Обсуждаются всякие дела. Я почти ничего не слышу. Ерунда какая-то всё… Меня не упоминают… Пока. Интересно, как Шулейкин будет меня уничтожать? Я скажу ему: «Всё вы врете!» — а он скажет: «Ну вот, видите?..» — а Мария Филипповна скажет: «Он всегда кичится!.. Подумаешь, университет окончил…» Только бы мне не принимать всего всерьез. Не поддаваться. Пусть не думают, что я готов в петлю… Черта с два!

Вдруг кто-то произносит мою фамилию. А я ловлю себя на том, что, как собака, поворачиваю ухо в ту сторону и настораживаюсь. И это меня смешит…

— Сейчас драчка начнется, — шепчу я Виташе.

Он ободряюще улыбается мне.

Потом объявляется перерыв. А шума обычного нет. Все сидят почти неподвижно. Все косятся на Петунина. А он встает и катится в мою сторону. И спрашивает меня:

— Ну, как у вас дела?

— Да вот сечь меня собираются, — говорю я.

Виташа мелко смеется.

— Сечь? — говорит Петунии. — Ну, не без этого…

— Конечно, — говорю я.

— Наверное, есть за что…

— Наверное, — говорю я.

— А на вас жалуются, что успеваемость низкую даете, — говорит Петунин.

— Не всё сразу, — говорю я.

Мне теперь всё равно. Я прекрасно понимаю, к чему он клонит.

— Значит, конфликт с директором?

— Вам видней, — говорю я.

— А может быть, на вас наговаривают?

Мне чудится издевка в его словах. Петунин откатывается на свое место. Я сажусь.

— Ничего не понимаю, — говорю я.

— Н-да, — говорит Виташа. — Дело темное…

И снова, но уже тихо-тихо, звучит моя фамилия. И Шулейкин, едва освещенный лампой, рассказывает о моих грехах. О, мои грехи! Их так много, и они так ужасны…

— …Откололся от коллектива… Противопоставил себя…

— Правильно, — говорит Мария Филипповна.

Я смотрю на Петунина. Он слушает Шулейкина и кивает головой.

— …Самая низкая успеваемость по письменному русскому… Был Виктор Павлович… Катастрофа…

— Был я на уроке, — говорит Виташа, — и не на одном…

Скажи им, Виташа, скажи…

— …Такой отсебятины я еще не встречал… Для чего же существует Министерство просвещения, а?

— Может быть, мне уйти?! — вскакиваю я.

— Может быть, вы мне договорить дадите? — говорит мне Виташа.

— Спокойнее, — говорит Петунин.

— Вот так он всегда, — говорит Мария Филипповна.

Ну погодите, погодите же!..

— Вы хвастались ученикам, — говорит мне Шулейкин, — что вам на всех наплевать, что у вас своя, мол, голова на плечах, что

программы — это чепуха…

— Кто вам сказал? — говорю я.

— Это не важно, — говорит он.

— Я говорил, что программу нужно дополнять! Я говорил, что очковтирательство… — я кричу.

— А зачем кричать? — спокойно говорит Шулейкин.

— Умейте ответ держать, — говорит Мария Филипповна и смотрит на Петунина.

А мне плевать на Петунина! Плевать!..

— А может быть, вам пора ответ держать, Михаил Андреевич, — негромко говорит Петунин из своего угла…

Становится ужасно тихо. Дым папиросный уносится к потолку. Виташа подталкивает меня под бок. У Марии Филипповны белеют губы.

— Вы оскорбляете учителя, не имея на то основания, — говорит Петунин Шулейкину.

— У меня все факты… Вот, — говорит Шулейкин и показывает кипу бумаг.

— Без фактов нельзя вести серьезный разговор, — говорит Петунин.

— Да вот же факты, Петр Сергеевич! — говорит Шулейкин и пытается улыбнуться.

— Взяли вдруг и обвинили, — говорит Петунин, — а фактов-то и нету…

— Да вот факты, — растерянно говорит Шулейкин.

— Эдак мы все друг друга начнем поносить. Что же будет? — говорит Петунин жестко. — Без фактов нельзя.

— Я все факты имею, — почти шепотом, безнадежно говорит Шулейкин.

— Вы лучше скажите, куда вы деваете контрольные работы, — говорит Петунин, — которые вам лень проверять? Сжигаете, да?

Шулейкин молчит. Что это происходит? Меня защищают?

— А во что он школу превратил! — кричит Виташа. — Все из-за него перегрызлись. Вы бы посмотрели, как он несправедливо картофельные участки распределял! И всякие разговоры… И на стенках всюду написано: «Кобель». Это о ком? Разве таким должен быть директор?!

Шулейкин пунцов, как переспевший помидор. И жалкая улыбка шевелится на его губах. А может быть, он плачет?.. А Виташа кричит, как Шулейкин по ночам прокрадывается к одной вдове…

— Это уже сплетни, — тихо говорит Шулейкин.

— Продолжайте, Виктор Павлович, — требует Петунин из

своего угла.

Что делается?! Неужели это всё из-за меня?

— Гы-гы, — говорит Маракушев, — а вы ведь, Михаил Андреевич, мне дров нарочно не давали, пока снег не пошел.

— Врете вы все, — говорит Шулейкин, не поднимая головы.

— Нет, он не врет! — стучит Петунин ладонью по столу.

— Гы-гы, — говорит Маракушев. — Вру, вру… А вот не вру!

— Так ему, гаду, — шепчет мне Виташа. — Допрыгался…

Что делается!.. Шторм. Ураган. Корабль сейчас на дно пойдет. Во все дыры вода льется. А тряпочки поверху плывут… Кто прав? Кто?.. Почему я тоже не кричу? Что, Шулейкина жаль? За что мне его жалеть? Топите его! Топите! Пусть знает!

…А потом я догоняю Петунина в коридоре.

— Что же теперь будет с Шулейкиным? — говорю я. — Теперь что, снимут его?..

— Решение облоно о снятии есть, — говорит он. — Почему «теперь»? Засиделся Шулейкин…

— Значит, это всё из-за меня? — говорю я.

— А при чем здесь вы? — говорит он, и смотрит куда-то мимо меня, и быстро уходит прочь.

Все расходятся. Почти никого не осталось. Только Шулейкин стоит у дверей учительской. Курит. И Мария Филипповна стоит рядом. И я слышу:

— Да вы успокойтесь, Михаил Андреевич…

— А я и не волнуюсь, Мария Филипповна…

— Вы не обращайте внимания…

— Да что вы…

— Мало ли что говорят…

— Вы сами успокойтесь, Мария Филипповна…

— Как они это нехорошо!..

— Ничего, ничего… Пустяки…

Уже пять дней прошло, как Шулейкина сняли. Нового директора пока нету. Обещали прислать. Экзамены на носу. Клара Ивановна пока робко командует. Все ходят тихие.

— Как же теперь Шулейкин будет? — говорю я Марии Филипповне. — Уедет?

— Зачем же ему уезжать? — удивляется она.

— Да трудно ведь… Быть директором… Теперь насмешечки…

— Я с ним говорила об этом. Я ему говорю: «Вам бы лучше уехать, Михаил Андреевич…» — а он мне: «Зачем мне ехать? И куда мне ехать?.. Что, учителем не могу работать?..» Да и вообще, я давно знаю… — она говорит шепотом, — он ведь не очень-то директорством своим дорожил… Он ведь не хапуга…

— Хапуга?..

— Ну, он покой любит. А директору-то, знаете?.. Каждому ведь свое. Директором надо быть энергичным. Правда? А он книжки любит читать… Помечтать.

Теперь почти вся школа взялась рыть ямы и столбы устанавливать. Уже десять столбов вкопали. Маракушев посмеивается:

— Гы-гы… А мне свет ваш не нужен… Я и с лампой хорош…

— Эх вы! — говорю я. — Ученики мозоли натирают… А вы?..

— Гы-гы… — смеется он. — Молодым везде у нас дорога…

Но он приходит все-таки.

— И вы здесь, Михаил Андреевич? — удивляется он.

— А что ж тут странного? — говорит Шулейкин из ямы.

— Да вроде бы директором были… Неудобно, должно быть…

— А вы помогайте лучше, — говорит Маша Калашкина.

А Шулейкин ничего не говорит. Он роет. Почти одной левой рукой. Правая у него какая-то странная…

* * *

— Вы все-таки решили уехать? — говорит мне Шулейкин.

Мы сидим на круглом гладком бревне под вековым дубом. Сквозь свежую листву ударяют тонкие солнечные струи. В поселке тишина. Ваня Цыганков сидит рядом. Он в резиновых сапогах. Рядом с ним — Коля Зимосадов.

— Решил, — говорю я. — В город тянет… Я ведь бродяга, — я смеюсь. — И вообще дела всякие. В газету меня зовут.

— Да, — говорит Шулейкин. — Вон и учителей новых прислали. Все с высшим образованием.

— Нам бы еще печи в школе починить, — говорит Ваня Цыганков.

Жара. Июнь.

Коля Зимосадов сидит как на семейной фотографии — ладони на коленях. Неподвижно.

Вот так же он сидел на экзаменах. Потом вышел и сказал всё, без запиночки. О Коля!.. Шулейкин присутствовал на экзамене у меня в классе. Он ставил всем лучшие оценки, чем ставил я.

— Зачем же так сурово? — сказал он мне. — Они же прекрасно отвечают…

После письменных экзаменов получилось шесть двоечников!

— Вот так, — сказал я.

— Ничего, — сказал Гена Дергунов. — Осенью пересадим.

— Лучше бы не пересдавать, — сказал Шура Евсиков.

— А я уже не пересдам, — сказала Маша. — Всё.

— Замуж Машка собралась, — сказал Саша Абношкин.

— Не, — сказала Маша, — я на торф поеду. Работать. Там по семьсот рублей заработать можно. Эх вы, колы мои, колы!

— Зато без обману, — сказал Ваня Цыганков.

После этого как раз я и сказал им:

— Я тоже уезжаю.

Они не кричали. Не побежали ко мне. Было недолгое молчание. Потом Ваня Цыганков сказал:

— Я бы тоже уехал…

И все засмеялись.

— Вот теперь вы и уезжаете, — говорит Шулейкин, вытирая пот со лба.

Жара. Полдень. Ребята встают и уходят.

— Мы скоро, — говорит Коля Зимосадов.

— Ребята, вы не забудьте вернуться, — смеется Шулейкин.

Он вытирает пот со лба. Он сидит в черном пиджаке. Он машет рукой.

— Такая жара, — говорит он, — что даже глупостей делать не хочется.

— Сняли бы пиджак, — говорю я.

— А жаль, что вы уезжаете, — говорит он. — Мы цапались тут с вами… Всё равно жаль…

— Мне и самому это трудно, — говорю я. Мне совсем не трудно. Это чтобы не обидеть его. Все пришло к концу… Надо ехать. Вот вкопаем сегодня последние столбы, и поеду я. Хватит с меня холодной кельи, сплетен, голодовки… Пусть новенькие попробуют…

— Без хозяйства своего здесь, конечно, трудновато, — говорит Шулейкин.

— А как Виташа вас прижимал на педсовете, а? — говорю я, как распоследний иезуит.

— Тоже жить хочет, — без злобы говорит он. — Обстоятельства… Такие обстоятельства… — это магическое спасительное слово. — Зато Виташа предмет знает свой. Его голыми руками не возьмешь.

— Послушайте, — говорю я, — это правда? Ну, теперь дело прошлое… Это правда, что вы некоторые контрольные работы… ну, не проверяли?..

— Я их в сортир спускал, — говорит Шулейкин. — Это очень удобно… — И после паузы: — А вы не пробовали у Виташи в долг просить? Вы бы попросили.

— Мне не нужно.

— Ну ради интереса…

— Да ну его к черту.

В Васильевке петухи кричат. Такая тишина, что даже отсюда слышно. Они кричат о жаре, о синем небе. Вон она, Васильевка, серой цепочкой протянулась там, за оврагом. И жизнь по этой цепочке и идет. И у каждого своя…

— Абношкина-то снять хотели, — говорит Шулейкин. — Народ не дал.

— А что он?

— Обижен он… Молчит.

Я вижу большую грузную тень Абношкина. Она, покачиваясь, поднимается над крышами Васильевки. Медленно и неспокойно. Она тяжела. Она разбухает от забот, от любви и от печали. Она встает уже над всем горизонтом, пытается что-то сказать… Трудно ему там, председателю. Я вижу большие печальные его глаза. Он то встает во весь рост, то наклоняется, копошится в большом своем нелепом огороде.

Кричат петухи. Огромное облако выкатывается в небо и уплывает куда-то в сторону.

— Я видел его вчера, — говорит Шулейкин. — Сам не свой…

Неладное с ним что-то, с Абношкиным. Я чувствую. А помочь не могу.

Какая-то молодая женщина идет к нам по дороге. Она одета по-городскому. Она подходит ближе. У нее приятное умное лицо, правда, немного растерянное.

— Новая учительница, — тихо говорит Шулейкин.

Она подходит прямо ко мне.

— Мне сказали, что вы москвич, — говорит она. — Я бы хотела поговорить с вами.

Мы идем с ней по дороге, под дубами.

— Ну как здесь? — спрашивает она. — В этой дыре?

— Ничего, — говорю я, — по-всякому.

— Какая жуткая тишина, — говорит она.

— В Москве, конечно, интереснее, — говорю я.

— Я знала, куда еду…

— О чем же тогда спрашивать?

Губы у нее кривятся. Но в них — сила. Это сразу бросается в глаза… А там Абношкин о своем страдает. Маша Калашкина любит своего тракториста. Коля Зимосадов, набычившись, идет куда-то с полевой сумкой через плечо…

— Почему дыра? — говорю я.

Она не отвечает. Что-то нетерпеливое сквозит в каждом ее движении. Мне вдруг вспоминается Сутилов и прохладная его улыбочка.

— А знаете, — говорю я и сам пытаюсь улыбнуться, — это ведь знаменитое место…

— Ну?

— Здесь бывал Толстой… Лев, — говорю я.

— А где вы покупаете продукты? — спрашивает она.

— В Козельске, — говорю я. — Всего пятнадцать километров… Сестра Толстого была здесь монахиней.

— Электричества, конечно, нету, — говорит она.

— Пока нету, — говорю я. — Мы вот столбы вкапываем…

— Почему вы?

— Мы и ученики…

— Почему?.. Почему?..

— Не знаю… А кому же еще?.. А что?

— Что же вы бежите из вашего рая? — губы ее кривятся. Но лицо остается приятным. Ей идет быть немножко злой. — Почему же вы бежите?

— Не знаю… Приглашают в районный центр… Не знаю…

Она смеется. Что я могу ей объяснить? Пусть поживет, а потом встретимся, поговорим.

— А вы что, — говорю я, — приехали посмеиваться?

— Я приехала работать, — говорит она жестко. — Вот именно.

Действительно, как это получилось с отъездом? С моим отъездом? А вот так и получилось. Копилось, копилось… И получилось… Вот и пора. Ты рад? Чертовски… Рад? Не знаю…

Мы возвращаемся к бревну, на котором сидит Шулейкин.

Мне не жаль ее, эту москвичку. Чего ее жалеть?

— Вон там расположена деревня, — говорю я. — Там вы будете работать… периодически.

— Представляю себе! — говорит она.

— Вон идут мои ученики, — говорю я. — Впереди идет Гена Дергунов. Видите? Это самый слабый ученик. Но прекрасный парень…

— Слабый ученик, но прекрасный парень?!

Я ей не угодил.

— Вы зря уезжаете, — усмехается она. — Вы очень вписываетесь в эту обстановку, — она обводит рукой вокруг. И смотрит, как я обижусь. Но так жарко, что мне лень обижаться. Да и необидно.

Мы подходим к бревну одновременно с ребятами. Гена Дергунов протягивает мне плоский сверток в газете. Ваня Цыганков смотрит в сторону. Коля Зимосадов — в землю.

— Это вам, — говорит Гена Дергунов.

Я разворачиваю газету. Легкая коричневая рамочка для фотографий ложится на ладонь. Она обклеена аккуратными квадратиками золотой соломы. Искусный узор золотится под

солнцем. Это похоже на инкрустацию из перламутра.

— Мне? — говорю я и, наверное, глупо улыбаюсь при этом.

— Вам, — говорит Гена Дергунов. — Это вам на память, — и он краснеет.

— Вот так штука! — говорит Шулейкин.

Ваня Цыганков смотрит куда-то в сторону. Коля Зимосадов — в землю. Жара. У новой учительницы кривятся губы. И на ресничке дрожит зеленая слеза.

— До свидания, — говорит она. — Я пошла.

— А вот мои ученики! — кричу я ей вслед. — Уж вы их не обижайте…

Ваня Цыганков смеется. Она уходит, не обернувшись. Только шевелит рукой, словно отмахивается.

— Жаль, что не сфотографировались, — говорит Шулейкин.

— Давайте копать, — говорит Коля Зимосадов.

— В самую-то жару? — говорю я.

— Давайте, — говорит Шулейкин. — А то уснуть можно.

Мы роем последнюю яму. Вкапываем последний столб. Шулейкин работает в пиджаке. Он весь в поту.

— Да снимите же, наконец, пиджак!

— Ничего, — говорит он. — Это даже полезно.

Работа подходит к концу. Ребята копают молча. У меня спина болит и шея горит от пота. Ничего, ничего, сейчас — всё… Зачем я ковыряюсь в этой земле?.. А вот затем и ковыряюсь… Зачем же… А вот затем… А у этой зеленая слеза на реснице висела… Ерунда… Все — люди, только петушатся иногда…

— Абношкина жаль, — шепотом говорит Шулейкин. — Они на него все навалились.

— Им бы только давай-давай, — громко говорит Коля Зимосадов.

— Тише, тише, — говорит Шулейкин. — Да никого же нету, — улыбается Гена Дергунов.

Неладное с Абношкиным. Я видел его позавчера. Он еле поздоровался со мной.

— Как здоровье? — спросил я.

— А вот как, — прохрипел он и пошел прочь.

Неладное с ним что-то.

— Так ведь и затравить недолго, — говорю я.

— Тише, тише, — просит Шулейкин. Кончим копать — пойду к Абношкину. Попрощаюсь. Хорошие слова какие-нибудь ему скажу.

— Всё, — говорит Шулейкин и утаптывает землю у столба.

— А еще проведем дорогу, — говорит Ваня Цыганков. — Камнем выложим.

Мы идем к Серене купаться. Мы спускаемся к ней гуськом. Серена ослепительно зеленая. Она извивается. Она зарывается в прибрежные кусты, словно сама жары боится.

— А где же Михаил Андреевич? — говорю я.

Шулейкина нет.

— А он со всеми не купается, — говорит Ваня Цыганков. — Он один всегда. Вон там, за поворотом, его место.

Я понимаю… Был директором. Командовал. Теперь, после всего, с мальчишками в воду лезть…

Я плыву за поворот. Осторожно вылезаю. Прячусь за куст. Мне хорошо видно, как Шулейкин ныряет. Потом он вылезает на берег. Скачет на одной ноге… Конечно, разве поскачешь перед мальчишками?.. Он хорошо сложен. Невысок, коренаст… «Мишка из-под сохи»… А в волейбол играть не умеет. Он ложится на траву. Закрывает глаза. Я смотрю и ничего не понимаю: вместо правой руки — что-то лиловое, бесформенное, страшное… Веточка из-под моей ноги падает в воду. Шулейкин вскакивает и быстро натягивает рубаху. И смотрит по сторонам…

Почему он не дал Виташе по шее, когда тот потешался над его рукой? Так вот оно что!.. Шулейкин, Шулейкин…

Что ж ты свои раны бережешь? Почему не бряцаешь ими? Только и знаешь, что пытаешься обнять себя самого…

И вдруг звон, похожий на далекий трамвайный звонок, раздается над рекой и стихает.

Зовет. Зовет меня. Ждет… И красный листок какой-то лежит на траве, словно красный вагон, остановившийся на последней остановке где-то в лесу…

Шулейкин медленно уходит вверх, в поселок. Он всё время оглядывается. Черный пиджак его мелькает среди зеленых ветвей.

Я иду по дороге в Васильевку. Птицы кричат над самой головой. Из оврага поднимается горячий воздух, и жаворонок купается в нем. Жара.

Они кричали на Абношкина. А он, наверное, хрипел и переминался с ноги на ногу. Он молчал, но запоминал каждое слово. Он долго помнит… Он, наверное, чувствует себя виноватым. А простить себя — самое сложное. Для партизана это нестерпимо — чувствовать себя виноватым, когда не виноват. Так? Правильно я все понимаю?

И почему такая тишина, как будто все ушли куда-то? Большое молчаливое кочевье снялось с места — и поминай как звали!.. Почему такая тишина?

— Эгееееей!.. — кричу я и сам себя не слышу.

Неладное с Абношкиным что-то… Я прибавляю шаг. Я почти бегу. Я словно и не купался в реке. Снова весь в поту…

Случись что, и никто ведь не услышит. Никого нет. Я почти бегу.

Саша Абношкин спускается с крыльца.

— Где отец?!

Надо бы спокойнее…

— Дома отец?

— Дома, — говорит Саша Абношкин. — Пошел в сараюшку ружье почистить.

Ружье? Вот как!.. Я вбегаю в сарай. Сперва ничего не вижу. Потом темень рассеивается. Абношкин сидит на чурбачке. Голову подпирает одной рукой, в другой — ружье охотничье.

— Здравствуй, — хрипит он. — Уезжаешь?

— Попрощаться пришел… — еле выговариваю я. — Что это вы ружьем занялись?

— А что?

Он смотрит на меня внимательно большими своими, печальными глазами.

— Мы все столбы врыли, — говорю я. — Вроде бы не сезон сейчас для охоты…

— Хорошо, что врыли, — хрипит он.

— Рано вы что-то к осени стали готовиться, — говорю я и киваю на ружье.

— Теперь бы еще к Васильевке столбы протянуть. Без света плохо ведь… — говорит он.

— Ребята дотянут, — говорю я. — А вы не обращайте внимания…

Он смотрит то на ружье, то на меня:

— Ты это о чем?

— Мало ли трудного бывает, — говорю я.

— А я думал: и не увидимся больше, — хрипит он.

— Что?!

— Ну, уедешь… не зайдешь… Ты пройди в тенек. Чего в дверях стоять.

Он усмехается и вешает ружье на стену сарайчика. Потом оборачивается ко мне и снова усмехается:

— Ну что, упрел? Да? Бежал, что ли?

— Жара, — говорю я.

И мне хочется обнять его.

Отдельные неудачи среди сплошных удач

Посвящаю Петру Тодоровскому

Это случилось давно. Я был очень молод. Из сельской школы меня перевели в городскую. И тут жизнь моя внезапно покатилась под откос, и я вот-вот должен был погибнуть, но необъяснимое чудо помогло мне спастись.

Я снимал угол в домике на окраине. Стояла гнилая осень. Ученикам я не нравился, и они отравляли мое существование. Друзей еще не было. Жить не хотелось. И вот однажды подошел ко мне в учительской преподаватель физкультуры Петя и сказал:

— Я гляжу, ты все один да один. Может, вечерком под шары сходим? Ну, ресторанчик такой, под шарами…

И мы отправились. Я, Петя и завуч. Это была не очень чистая столовая рядом со школой. Над входом висели два тусклых круглых матовых шара. Мы нашли себе столик. Нам, не спрашивая, подали по граненому стакану с водкой, по кружке пива и по порции котлет с лапшой. Выпили — разговорились. Помню, было хорошо, легко, сердечно. Вывалились оттуда в полночь, обнялись и зашагали по пустынным улицам: провожали друг друга. Что-то такое пели громко, хором. Расставаться не хотелось.

Следующее утро было опять гнилым, гадким. Ученики не жаловались. Но я понимал, что спасение вечером, под шарами. «Под шары идем?» — спросил я Петю. Его обрадовала моя прыть. Правда, с деньгами вышла легкая неувязка, но меня научили обратиться в кассу взаимопомощи и попросить денег на приобретение, ну, скажем, ботинок… И вот снова были граненые стаканы, пиво, котлеты, и снова мы шли в обнимку, пели, а в промежутках делились опытом…

Утром я подумал: «Вечером — под шары. Какое счастье!..» И так продолжалось несколько месяцев, пока не произошло необъяснимое чудо. И я вернулся к себе самому.

Спустя несколько лет переехал я в Москву и, представьте себе, попал почти в ту же ситуацию. С одной стороны, столица, блеск, всякие вожделения, с другой — гнилая осень, одиночество, ни насиженного места, ни знакомых лиц; а мечталось о дружеском участии, о милых встречах… Женщины проходили мимо, да и не умел я привлекать их внимания, да и одет был крайне невзрачно. И вот решил я, как всякий молодой человек, хорошо одеться.

Однако хорошо одеться в то трудное время было сложно: в магазинах продавались вещи невыразительные, скучные, а мечталось о необычном, а необычное можно было достать лишь в

комиссионном магазине, да и то изредка, и стоило оно немалых денег. Начал я копить, добавили родственники, и вот двери комиссионного магазина распахнулись передо мной. Я вошел туда в надежде натолкнуться на неповторимое произведение искусства кройки и шитья. Мне повезло. Я сразу увидел пальто из замечательного драпа цвета переспелой моркови. Примерил — оно было сшито на меня. Оно было теплое, мягкое, облегающее, на блестящей скользкой подкладке. Она была столь прекрасна, что хотелось вывернуть пальто и носить его подкладкой вверх. Пальто было с чужого плеча, но это меня не волновало. Главное, что своим видом, цветом оно соответствовало тогдашнему моему вкусу. Конечно, вкусы меняются. Природа и возраст делают свое дело. В тринадцать лет, например, я воображал себя в черных брюках, в белой сорочке апаш и с фотоаппаратом «лейка» через плечо. А в пятнадцать мне уже хотелось выглядеть похожим на Костю Червонца с нашего арбатского двора: тельняшка, пиджачок, чубчик из-под кепочки, и обязательно хромовые сапоги гармошкой, и обязательно золотой зуб…

Короче, заглянул я в зеркало. Передо мной стоял уже не прежний сутулящийся от холода человек в потертом полуплаще, а статный независимый молодой мужчина со счастливым румянцем на щеках. В довершение всего пальто стоило дешевле, чем предполагалось, и этот внезапный красавец позволил себе купить шляпу из коричневого велюра, и еще осталось на такси, в котором он отправился к себе на работу.

В те годы я трудился в одном из столичных издательств, которого не называю, ибо, как подсказывал опыт, некоторые люди воспринимают мои нынешние откровения как удар по собственному престижу. Им кажется, что моя откровенность порочит не только меня, но и их, а у меня нет желания травмировать бывших моих сослуживцев.

Итак, приехал я к себе в издательство, вошел в комнату и по взглядам присутствующих понял, что я уже не тот, что был, — иной, иной…

Мой сослуживец, назовем его Виталием, сказал:

— Ба, а ты ничего себе! — и глаза у него повлажнели. — Послушай, а почему бы нам вечерком не выйти на Тверскую?

— И с какой целью? — спросил я рассеянно, но на самом-то деле весь напрягся, напружинился…

— Познакомимся с какой-нибудь достойной красоткой, — сказал Виталий, — проведем время…

Я тут же представил себе эту красотку. У нее были длинные ноги. Светлые волосы струились по плечу. Правильное лицо украшали глубокие серые глаза. Улыбалась она ослепительно.

Говорила низким голосом, слегка нараспев. Заканчивала аспирантуру по астрофизике…

— А ты уверен, — сказал я, — что достойные красотки ходят по Тверской, ожидая нас? — Но глухая надежда шевельнулась в моей израненной душе.

Вообще, мне страшно было подумать подойти к незнакомой женщине на улице, но Виталий многозначительно улыбался.

Мы встретились у метро «Белорусская». Стояла промозглая осень. Под фонарем на сыром асфальте распласталась моя нервная, элегантная тень. Я решил не продавать себя дешево.

— Послушай, — сказал я как человек, утомленный опытом, — только, пожалуйста, без всяких пошлостей, хватаний за руку и жалкой лжи…

Он посмотрел на меня многозначительно и ничего не ответил.

До площади Маяковского мы не встретили ничего примечательного. Напряжение мое усиливалось. Где вы, длинноногие мадонны, сочетающие в себе современную красоту, ум Сократа, нравственные богатства и старомодную женственность наших бабушек? Где же вы?

И тут Виталий резко шагнул в сторону.

— Вы одна, и это ужасно, — проворковал он. Перед нами стояла девушка. У нее было озябшее невыразительное лицо.

— Что-то есть в нашей встрече, — сказал Виталий с профессиональной настойчивостью. — Ведь мы встретились не на балу, а в промозглой осенней полутьме. Какая-то сила свела нас…

— И что же? — спросила она не очень дружелюбно.

— Пойдемте с нами в уют, в тепло, в музыку, в дружескую пещеру… Люди должны быть ближе друг к другу. Познакомьтесь, это мой приятель.

Она отвела мою руку и исчезла.

Я совсем забыл сказать, что нас ждала однокомнатная квартирка Виталия, где была бутылка коньяку, яблоки, торшер, диван и проигрыватель.

Мы пересекли площадь Маяковского. Мимо, дразня нас, проплыла мадонна, недоступная, как звезда. Ее сопровождал некто счастливый и благополучный, хотя, как я успел заметить, он был не так уж и прекрасен.

Затем перед нами возникли две довольно симпатичные красотки.

— Привет, — сказал им Виталий. — Кого я вижу!

Но они прошли мимо.

Однако время не стояло на месте, и площадь Пушкина мы пересекли уже значительно торопливее.

— Кстати, — сказал Виталий, — тебе надо поддерживать

меня в разговоре. Ты молчишь, а они начинают бояться. Они думают: кто этот молчаливый красавец? К добру ли он? — и тихо засмеялся.

«Конечно, — подумал я, — это очень унизительно, но ведь где-то кто-то нас ждет? Ведь не может быть, чтобы все были окончательно разбиты на пары!»

— А я где-то читал, — сказал я, — что вообще женщин больше, чем мужчин.

— На земном шаре — да, — засмеялся Виталий, — но не на Тверской.

Мы двигались уже быстрым шагом. Внезапно он коснулся моего локтя:

— А вон идут наши…

Я вздрогнул. Две юные дамы, смеясь о чем-то своем, медленно приближались к нам. Чарующий свет магазинной витрины придавал их облику загадочность и полночную прелесть. Они представляли собой ту классическую пару, которую любили изображать художники на страницах журнала «Нива». Обе высокие, стройные. Блондинка и брюнетка. Юдифь и Брунгильда, сведенные вместе прихотью фортуны.

— А мы вас ждали, — проворковал Виталий, и глаза его наполнились медом.

Красотки остановились, переглянулись и засмеялись, однако вполне дружелюбно. «Наши! Наши!» — ликовал я.

— Знакомьтесь, — сказал Виталий, — мой приятель.

Он широко взмахнул рукой, заключая меня в некий фантастический овал, давая им понять, с кем они имеют дело. Его великодушие не имело границ. Он умалял себя, чтобы мои достоинства проявились с полной силой: «Что я… Я ничто. Посмотрите на него: как он стоит! Какое на нем пальто! Как благородны его черты!.. Какая шляпа!.. Какая тайна во всем его облике!..»

— Знакомьтесь, не пожалеете, — сказал он, — это удивительная личность. — В его бодром воркование все-таки различалось отчаяние.

— Очень сожалею, — сказала брюнетка, — но ваш приятель не в моем вкусе.

Слова брюнетки не произвели на меня впечатления, потому что мне нравилась Брунгильда. Мне вообще всегда нравились блондинки. Видимо, потому, что я сам брюнет. Правда, эта ортодоксальность несколько раз выходила мне боком.

Конечно, тут я должен был что-то ответить, сказать что-нибудь такое… Но слов не было, и чем больше я напрягался, тем меньше их оставалось в несчастной моей голове.

— Ну, протяни дамам руку, ручку протяни, — сказал Виталий с улыбкой, но мне послышалось в его голосе легкое раздражение.

Не сводя глаз с блондинки, улыбаясь с ученым видом знатока, я протянул к ней ладонь.

— Нет, — вздохнула она, — вы оба не в нашем вкусе…

И они растворились во мраке, а мы обреченно и сосредоточенно помчались по направлению к Юрию Долгорукому.

Тусклые фонари. Изморозь. Легкая дымка грядущей зимы. Неправдоподобный свет витрин. Все казалось призрачным, фантастическим. И наши напряженные, унылые, издерганные тени стремительно пересекали замирающую Москву. Я сдвинул шляпу на затылок, чтобы выглядеть лихо: женщины любят силу, задор, стремительность…

Очередная жертва была благосклоннее прочих; так легко и просто выдала свое имя и, шмыгая острым длинноватым носиком, призналась, что все это ей как-то непривычно, но она рада познакомиться с такими интересными ребятами и будет ждать, когда они ей позвонят… Сегодня? Нет, она идет на дежурство… Завтра бы, а? Она будет сидеть у телефона, и подруга у нее есть…

Я хотел сказать ей, что она не в нашем вкусе, но мне ее стало жалко.

— А знаете что, — сказала она суетливо, — дойдем до почты, я, может, и отпрошусь, а?

Мы пообещали позвонить ей и полетели дальше.

— На таких-то уж не будем разменяваться! — крикнул я.

— Да мне, собственно, все равно, — откликнулся Виталий и нервно захохотал: — Стоило ли… Я думаю, стоило ли новое пальто. А ведь еще и шляпа! Велюр!..

Вечер пропадал. Уже виднелась Манежная площадь. Правда, женщин как будто прибавилось. Это утешало. Особенно много их было почему-то на той стороне улицы. Даже отсюда было видно, как они стройны, медлительны, прекрасны.

— Переходим! — распорядился мой друг. Мы почти перепрыгнули на противоположный тротуар, но он был пустынен, ничто не привлекало взора.

— Зря упустили ту, — прохрипел Виталий, — не так уж и страшна…

Все красотки теперь медленно двигались по той стороне.

— Давай туда, — скомандовал Виталий.

Я перелетел на другую сторону и вновь оказался в пустоте. Зато там, где оставался Виталий, возобновилось шествие. «Ага! — подумал я с торжеством, наша берет!» Громадными скачками, не касаясь земли, Виталий носился меж телеграфом и Ермоловским театром.

«Как это унизительно, — подумал я. — Что мы делаем?! — А сам носился тоже, придерживая рукой шляпу. — Как стыдно!» — но остановиться не мог.

Так мы добрались до станции метро. Дальше простиралась бесконечность.

— К черту, — сказал я, задыхаясь, — хватит. Идем по домам. Твой профессионализм ни к черту…

— Моя профессия — редактирование рукописей, — шепнул он мрачно.

Пустынный эскалатор уносил нас в преисподнюю. Пальто мое переменило цвет. Исчезли мягкие тона. Оно выглядело крикливо, капризно, истерично, ядовито… Оно стало жестче, фанернее, трудно было пошевелиться…

Едва дыша от усталости и разочарования, мы ввалились в полупустой вагон, и в этом полупустом, полусонном вагоне, как вознаграждение за недавнее отчаяние, сама фортуна предстала перед нами в образе длинноногой юной мадонны, весьма изящной и слегка небрежной, с загадкой в больших серых глазах и с ослепительной располагающей улыбкой… В общем, едва мы ввалились в вагон, как тотчас налетели на нее.

— Привет, — сказала она. — Бедные мальчики, какой обалдевший вид!

— А у вас, надеюсь, вечерок прошел славно? — проворковал Виталий.

— У меня он только начинается, — ослепила она.

Возле ее ног стоял большой распухший портфель. Мы тут же познакомились. Я не сводил с нее глаз. Это была королева.

— Послушай, Виталий, — сказала она, — подержи-ка зеркальце, вот так, — и принялась орудовать губной помадой. — Знаешь, — сказала она мне, — один тип ждет меня уже больше часа. Представляешь?.. Я проковырялась дома кошмарное время!

— Кто он? — спросил я, холодея.

— Такой же дурачок вроде вас… Это потрясающе!

— Может, плюнем на него? — предложил Виталий.

— Это дурно, — сказала она, — можно быть легкомысленной, но непорядочной — никогда.

— Да он же тебе надоел, — сказал Виталий.

— Это правда, — согласилась она. — А что делать?

— А вот мы, например, — сказал Виталий. Опять торговля, позор, вымогательство!.. Ладно, пусть и она укажет нам наше место… Ее звали Зиной.

— Зин, а Зин, — сказал Виталий, — да не ломай ты голову. Ну позвонишь ему завтра, и все такое… Вдруг она засияла:

— Вот дурачки!.. Тогда давайте быстренько позвоним

Наташке и поедем ко мне на дачу. Виталик, Наташка тебе понравится.

Она выбрала! Какое счастье! Значит, Виталию — Наташка, а мне — она! И тут она хлопнула меня по плечу:

— Ну, что скажешь, горюшко мое?

— Фантастика! — сказал я, потрясенный. — А знаешь, мы тут облазили всю Тверскую, и все безуспешно, и вдруг — ты!

— Ну надо же! — удивилась она. — У вас что, знакомых девчонок нет?

— Почему же нет? — проворковал Виталий. — Одна свалилась в гриппе, другая в отъезде, третья… надоела… Ну, знаешь, как бывает…

Она была прекрасна в мягком свитере вишневого цвета, в пальто нараспашку… Я тоже распахнулся.

— А Наташка, — спросил Виталий, — она как? Она ничего себе?

— Царица, — сказала Зина, — умрешь.

Вообще, был огонь, фейерверк, молния, внезапность, чудо. Все сладилось. Эскалатор выносил нас слишком медленно. Я, надрываясь, нес тяжелый портфель моей дамы.

— Никаких однокомнатных пещер, — командовала Зина, — у нас с бабушкой целая дача. Да вы что, смеетесь?.. Бабку запрем в ее комнате…

Мы вышли у Курского вокзала. Виталия она послала в дежурный гастроном.

— Беги, Виталик, беги, пока не закрыли! И забудь про свою бутылку с коньяком. Вы что, опсихели? Четыре нормальных человека и одна бутылка?! И потом, учти, у меня еды мало, сыру не забудь, колбаски… Беги, беги!

— Слава богу, — сказал я, распоясываясь, — мы остались наедине. Так и ждать приятнее…

— Чудовище, — сказала она, — это ты будешь ждать, а я побегу звонить Наташке.

— И все-таки хорошо, что не мне бежать в гастроном, — сказал я.

— Ах ты, маленький лентяйчик! — засмеялась она. — А ну-ка донеси мой портфель во-о-он до той телефонной будки.

Я радостно подхватил портфель, и мы отправились.

— Теперь, — сказала она, высовываясь из кабинки, — лети, шалунишка, на прежнее место, а то Виталий нас потеряет, — и помахала мне ручкой.

Она звонила долго. С полчаса. Пришел Виталий, нагруженный бутылками и пакетами.

— Ты не сердишься, что она выбрала меня? — спросил я.

— Я не очень привередливый, — засмеялся он. — Наташка так Наташка.

Прошло еще полчаса. Минули вообще все возможные сроки. Вспоминались различные истории о том, как юные красотки завлекали к себе мужчин, напаивали их, потом вваливались их дружки…

— Это отпадает, — сказал Виталий, — нас ведь никуда не завели. В общем, нормальное «динамо»…

— А ты уверен, что она из «Динамо»? — спросил я. Он засмеялся и потащил меня к закрывающемуся метро.

— Нам крутанули «динамо», — пояснил он. — Динамистки пьют, едят на твои деньги, а после ни-ни…

— Это отпадает, — сказал я твердо. — Она была бескорыстна.

На следующее утро, переполненный раскаяниями и гневом на собственную слабость, я отправился в издательство.

Виталий уже сидел за своим столом, свежевыбритый, улыбчивый, благоухающий.

— Хочу тебя обрадовать, — сказал он, как ни в чем не бывало, — не успел вчера ввалиться в дом, как позвонила одна дама, зовут Тамара, спросила Люсю…

— И что же?

— Познакомились, договорились на сегодня.

— С меня хватит, — сказал я, усаживаясь за стол.

— А она обещала привести Люсю, — проворковал Виталий.

Я открыл чью-то рукопись, но вместо букв увидел Люсю.

— Нет уж, — сказал, — Люси, Маруси… К черту. Иди к черту.

У Люси были длинные ноги, вишневый свитер обтягивал ее прелестную фигурку, серые глаза смеялись. Она с успехом училась на археолога, но это не мешало ей заниматься парусным спортом и любить Верлена. У нее был иронический склад ума, а когда я попросил пришить мне к пиджаку пуговицу, она и это сделала легко и с изяществом.

— Ну как? — спросил Виталий.

— К черту, — я был тверд. — Мадонны на улице не валяются.

Весь вечер в душе моей бушевали бури. Я освистывал себя и унижал. Я вспоминал о себе самое дурное. Кстати, и ту историю в провинции, под шарами. «Неужели, — думал я, — этого мало? Неужели я не гожусь для лучшего?!»

Позвонил Виталий и сказал:

— Значит, так, тут ко мне неожиданно нагрянули родственники, поэтому сгоняй за девочками сам, заезжайте за мной, а я тут пока управлюсь, и мы дунем куда-нибудь в ресторан…

— Ладно, хорошо, — почти крикнул я торопливо, — только у меня с деньгами…

— Деньги есть, — сказал он, — все в порядке.

Я сорвал с вешалки свое новое пальто. Оно было оранжевого цвета с легким голубым отливом; надел шляпу, глянул в зеркало и подумал: «Чего им еще нужно?»

Возле станции метро «Смоленская» бушевали страсти. Здесь было место свиданий. Здесь ждали, встречали, отчаивались и возносились. На душе у меня было мерзко, но, подчиняясь неведомой силе, я, словно орел-стервятник, кружил и кружил в счастливой толпе. Через несколько минут я уже хорошо ориентировался в этой суматохе, я сжился с обществом и понял, что это не безумная стихия, а разумное логическое движение природы. Уходили одни, появлялись другие. Самые красивые ждали недолго: их кавалеры не опаздывали; те, что похуже, были терпеливей, но и их не обходила удача. У меня было сложное положение: я не знал ни Люси, ни Тамары. Я спрашивал почти всех подряд, но все оказывались чужими. «Очень хорошо, — подумал я, — очередной розыгрыш. Зато я могу уйти к черту!» Конечно, можно было бы встать на ступеньки и крикнуть оттуда: «Люся, Тамара, ау!..» Но меня бы подняли на смех, потому что представьте себе: это пальто, эта шляпа, эти усики — и ау-у!..

Наконец, все разбились на пары, и перед станцией метро остались двое: я и какая-то приземистая девица в мешковатом пальто и берете. Мы долго и недружелюбно оглядывали друг друга. Я подошел к ней. Это была Тамара. «Если Тамара такая, то какая же Люся?» — подумал я и решил плюнуть на все и исчезнуть, но почему-то не смог. Вскоре к нам присоединилась и Люся, маленькая толстушка с русой челкой.

— Ну ладно, — сказала Тамара мрачно, — поехали за Виталием. Вот такси.

Честно говоря, я предполагал добраться до Виталия на метро, но спорить не решился. Мы доехали до Калужской заставы. Девочки остались в машине. В лифте я решил, что сейчас самое время задать деру, но не смог. Виталий лежал на диване совершенно пьяный. Гостей уже не было. Какая-то старуха подтолкнула меня к двери:

— Давай, давай отседова!

— Виталий! — крикнул я.

— Ку-ку, — сказал он, не открывая глаз.

— Мы приехали, — крикнул я, — у меня нет денег…

— Ку-ку, — сказал Виталий, а я очутился за дверью. Выходя из подъезда, я подумал, что теперь-то самое время убежать, но пошел к машине.

— В ресторане и без Виталия хорошо, — сказала Тамара. — Давай, шеф, в гостиницу «Ленинградская», там ресторан что надо.

Денег у меня какая-то жалкая мелочь, едва на такси. Тамара мрачно молчит: чем-то я ей отвратителен. Люся вздыхает и иногда произносит отдельные слова вроде: «А вот комиссионка…», или «А здесь Санька живет…», или «Гляньте, дура какая, по лужам бежит!..»

— Боюсь, что мест в ресторане, как всегда, не будет, — сказал я.

— А ты не бойся, — сказала Тамара, — швейцару дашь — и будет.

«Надо бежать, — подумал я, утирая холодный пот, — то есть даже не бежать, а выйти из машины и спокойно уйти… Гуляйте сами…»

Молодая женщина сидела в машине рядом. В полутьме она казалась прекрасной. Надо ведь что-то сказать ей полушепотом, взять за руку, чтобы она оттаяла. У нее тоже трудное положение: кто я, зачем?.. Я прикоснулся к руке Тамары, она ее отвела. Такси остановилось у ресторана. Толпы не было. С неба сыпалась какая-то гадость. Я расплатился почти всем, что у меня было. Осталась ерунда на бутылку самого дешевого сухого. Хоть бы нас не впустили!

Громадный мраморный зал ресторана был почти пуст. Играл оркестр. Метрдотель очень любезно завел нас в отдельную кабину. Я утирал пот. И тут же перед нами возник молодой официант.

— Так, — сказал я лениво и по-хозяйски, — я думаю, что нам хватит бутылочки сухого вина и немного яблок, что ли… Будем танцевать.

Он хотел было идти, но Тамара его остановила.

— Погоди, шеф, погоди, — сказала она, и ее пальчик с облезающим маникюром забегал по меню, — давай так… неси семгу, колбаски вот этой… Помидорчики есть? Давай тоже, сыру давай тоже. Это на закуску… Да, еще салатику захвати…

— Что-то ты размахнулась, — засмеялся я.

— А что ж, голодными сидеть? — сказала Люся.

— Теперь, — сказала Тамара, не обращая на меня внимания, — давай так: водочки графинчик похолодней, ну, сам знаешь, ситро… Теперь горячего… горячего… давай котлеты по-киевски…

— Кофе? — спросил официант бесстрастно.

— Ну да, — сказала Люся, — и мороженого.

Он ушел. Мы сидели молча. Люся выглянула за занавеску.

— Танцуют, — сказала она, — одна пара. Танцевать не умеют, а тоже… А юбку какую надела, умора… Погляди, Тамар.

— Да ладно, — сказала Тамара.

— Ну и Виталий, — сказал я, чтобы поддержать разговор, — хорош.

— Да ладно, — сказала Тамара, — Виталий, Виталий… Сидишь и сиди.

«Что же делать!» — подумал я, но тут появился официант, и наш стол затрещал. Он, мерзавец, не забыл принести и мою бутылку сухого, и яблоки, и еще по собственному почину вазу с дорогими конфетами, и сказал, обращаясь, конечно, к Тамаре:

— Думаю, не помешает. Для общей красоты.

— Сойдет, — сказала Тамара.

Я разлил водку, и мы выпили. И тут же по второй. Я посмотрел на себя со стороны: ничтожество. А в девчонках что-то было: во-первых, бесцеремонность — они прямодушны и бесхитростны, современны; во-вторых, и внешне… такие вострушечки. У Тамары маленькие острые зубки, маленькие острые глазки, тонкие губы — характер; а Люся — вообще прелесть: раскраснелась, хохочет, уплетает за обе щеки…

Мы выпили еще. Музыка гремела замечательно. Ах, будь что будет!..

— Пошли танцевать, — распорядилась Тамара, и мы затоптались перед оркестром.

Танцевала она очень обстоятельно, сосредоточенно, по-деловому, словно выбирала блюда в меню. Я попробовал прижаться к ней, но она сказала:

— Не взнуздал, а поехал?

В то же время, когда один из танцующих кивнул ей, она широко и игриво ему заулыбалась. Это придало мне смелости.

— Завтра увидимся? — спросил я воркующим шепотом. — Только без Люси, ладно?

Она вскинула на меня свои маленькие ледяные глазки и сказала:

— Не взнуздал, а поехал?

«Ничего себе!..» — подумал я.

Мы вернулись в свою кабинку, но тут начался новый танец.

— Теперь с Люсей, — приказала Тамара.

Танцующих прибавилось. Люся сама прижалась ко мне. Я затанцевал лихо, всех расталкивая.

— И этих толкни! — просила она, и я толкал.

Мы славно натолкались. Она была так же далека от совершенства, как и ее подруга, но в ней было что-то человеческое, и потому я спросил воркующим шепотом:

— Люся, а хорошо бы завтра встретиться, а?

— Не шутишь? — засмеялась она.

— Только без Тамары, ладно?

— А ты не шутишь?

Потом я снова танцевал с Тамарой, потом с Люсей, и еще с Тамарой, и опять с Люсей…

— Ну как, договоримся на завтра? — спросил я Люсю.

— Не взнуздал, а поехал?

Мы воротились в кабину. Тамара обстоятельно доедала киевскую котлету.

— А икру-то не заказал, — сказала она, — пожалел. Тут я увидел в центре стола на тарелке громадную порцию икры. Люся расхохоталась.

— Вот так-то, — сказала Тамара и потянулась ложкой к икре. Вдалеке маячил официант. Я подошел к нему и покаялся.

— Сейчас милицию позову, — сказал он спокойно, — акт составим.

Я предложил ему часы и задаток, но он был неумолим.

— Послушай, — сказал я, — у меня новое пальто, заграничное. Ты его возьми пока, а завтра я его у тебя выкуплю. Пожалуйста…

Мы прошли в гардероб. Пальто было вишневого цвета с зеленым отливом. Оно ему понравилось. Я нахлобучил шляпу и направился к выходу.

— Девочек-то своих позабыл, — сказал он по-свойски.

— Они не мои, — сказал.

— «Динаму» крутанули? — посочувствовал он.

— Нет, — сказал я, — я сам этого хотел.

На улице было холодно. Шел первый снег.